

Кингсли Ч.

---

# ИПАТИЯ

ЖЕНСКИЕ ЛИКИ — СИМВОЛЫ ВЕКОВ

Женские лики – символы веков

Чарльз Кингсли

**Ипатия**

«Алгоритм»

1853

УДК 82/89  
ББК 84(4Вл)

**Кингсли Ч.**

Ипатия / Ч. Кингсли — «Алгоритм», 1853 — (Женские лики — символы веков)

ISBN 978-5-486-02961-5

Чарлз Кингсли (1819–1875) — англиканский священник, писатель, историк; один из основателей английского христианского социализма. Его творческое наследие состоит из романов, философских сочинений, проповедей, публицистики, лекций и т. д. Славу пастору как христианскому социалисту и писателю создали два социальных романа — «Дрожжи» и «Элтон Локк, портной и поэт», где ему удалось отобразить кризисные явления в традиционно консервативном сельском обществе и показать бедствия обитателей городских трущоб. В данном томе публикуется его знаменитый роман «Ипатия» (1852–1853), повествующий об упорной борьбе александрийских христиан с язычниками в IV в. В центре романа — судьба одной из самых известных женщин того времени, философа и математика Ипатии, которая, понимая все несовершенство языческих верований, тем не менее отказалась принять учение Христа, поскольку убедилась в порочности служителей его церкви.

УДК 82/89  
ББК 84(4Вл)

ISBN 978-5-486-02961-5

© Кингсли Ч., 1853  
© Алгоритм, 1853

## Содержание

Глава I	5
Глава II	11
Глава III	20
Глава IV	26
Глава V	32
Глава VI	43
Глава VII	47
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Чарлз Кингсли

## Ипатия

### Глава I

#### Лавра

Это было в 413 году христианского летоисчисления, за триста миль от Александрии. На склоне невысокой цепи скал, окруженных песчаными наносами, сидел молодой монах Филимон. Позади него расстилалась безжизненная, беспредельная пустыня, тусклый колорит которой отражался в прозрачном голубом небе. У его ног струился песок, заливая необъятными желтыми потоками лощины и холмы; порой, когда поднимался легкий летний ветерок, песок окутывал бурыми дымчатыми облаками всю окрестность. На гряде утесов, сгрудившихся стеной над узкой котловиной, виднелись кое-где высеченные в камне гробницы и огромные старые каменоломни с обелисками и незаконченными колоннами, так и оставшимися в том виде, в каком их бросили рабочие много веков тому назад. Вокруг них кучами лежал песок; кое-где он покрывал их верхушки словно инеем. Повсюду царило безмолвие и запустение: это была могила мертвого народа в умирающей стране.

Полный жизни, молодости, здоровья и красоты сидел Филимон, погрузившись в раздумье. Он казался юным Аполлоном пустыни. Единственным одеянием ему служила старая овчина, стянутая кожаным поясом. Его длинные черные волосы развевались и блестели на солнце; густой темный пух на щеках и подбородке говорил о здоровой цветущей молодости, жесткие мускулистые и загорелые руки свидетельствовали о труде и лишениях.

Что искало среди могил это прекрасное, юное человеческое существо?

Этот вопрос задавал, вероятно, и сам Филимон. Как будто отгоняя набегавшие грезы, он провел рукой по лбу и со вздохом приподнялся. Он стал бродить между скал, останавливаясь то у выступа, то над впадиной, ища дров для той обители, откуда он пришел.

Но даже и этого жалкого топлива, состоявшего по преимуществу из низкорослого сухого кустарника пустыни да деревянных брусьев из брошенных каменоломен, становилось мало около Сетской лавры. Чтобы набрать его, Филимону пришлось отойти от своего монастыря дальше, чем он это делал до сих пор.

У изгиба лощины его взорам представилось невиданное зрелище. Он увидел храм, высеченный в скале из песчаника, а перед храмом площадку, заваленную старыми бревнами и сгнившими орудиями. Кое-где в песке белели оголенные черепа, принадлежавшие, вероятно, мастеровым, убитым за работой во время одной из бесчисленных древних войн. Игумен Памва, духовный наставник Филимона и, в сущности, настоящий его отец, – ибо из воспоминаний детства у юноши не осталось ничего, кроме лавры и кельи старца, – строго воспретил ему приближаться к этим остаткам древнего языческого культа. Но к площадке вела широкая дорога, и множество топлива, видневшегося там, было настолько соблазнительно, что он не мог пройти мимо. Филимон хотел спуститься, набрать охапку и вернуться, а потом сообщить настоятелю о найденной сокровищнице и спросить его, разрешает ли он брать из нее и впредь.

Он начал спускаться, едва осмеливаясь смотреть на пестро окрашенные изваяния, красные и синие краски которых, не поврежденные ни временем, ни непогодой, ярко выступали на фоне мрачной пустыни. Но он был молод, а юность любопытна; и дьявол, по крайней мере в пятом столетии, – сильно смущал неопытные умы. Филимон слепо верил в дьявола и ревностно молился денно и ночно о спасении от его козней. Он перекрестился и от всего сердца воскликнул:

– Отврати взор мой, Господи, чтобы я не узрел эту суету сует!

А все-таки он взглянул... Да и кому бы удалось побороть искушение? Разве можно было оторвать взор от четырех исполинских изваяний царей, восседавших сурово и недвижно на своих тронах? Их огромные руки с непоколебимым спокойствием опирались о колени, а мощные головы, казалось, поддерживали гору. Чувство благоговейного трепета овладело молодым монахом. Он боялся нагнуться, боялся собирать дрова под строгим взглядом этих больших неподвижных очей.

Около их колен и около тронов были выгравированы мистические буквы, символы и изречения, – та древняя мудрость египтян, в которой был так сведущ Моисей, божий человек. Почему бы и Филимону не ознакомиться с ней? Не были ли скрыты в ней великие тайны прошлого, настоящего и будущего того обширного мира, о котором он еще так мало знал?

Миновав царственные изваяния, взор Филимона созерцал внутренность храма, – светлую бездну прохладных, зеленоватых теней, которые в анфиладе арок и пилястров сгущались постепенно в непроницаемую мглу. Смутно различал он на погруженных в таинственный полумрак колоннах и стенах великолепные арабески – длинные строки иллюстрированной летописи. Вот пленные в причудливых, своеобразных одеяниях ведут необычайных животных, нагруженных данью далеких стран; вот торжественные въезды триумфаторов, изображение общественных событий и работ; вот вереницы женщин, участвующих в празднестве. Что означало все это? Зачем целые века и тысячелетия просуществовал великий Божий мир, упиваясь, надеясь и не зная ничего лучшего? Эти люди утратили истину за много столетий до их рождения... Христос был послан человечеству много веков после их смерти... Могли они знать что-либо высшее? Нет, не могли, но кара постигла их: все они в аду – все! Возможно ли примириться с этой мыслью? Несчастные миллионы людей вечно горели вследствие грехопадения Адама, – разве это божественное правосудие?

Подавленный множеством зловещих вопросов, детски неопределенных и неясных, юноша побрел назад, пока не показалась его обитель.

Лавра была выстроена в довольно приятном месте. Она представляла собой двойной ряд грубо сложенных циклопических келий, и ее окружала роща старых финиковых пальм, росших в вечной тени, у южного склона утесов. Находившаяся в скале пещера разветвлялась на несколько коридоров и служила часовней, складом и больницей. По залитому солнцем склону долины тянулись огороды общины, зеленевшие просом, маисом и бобами. Между ними извивался ручеек, тщательно вычищенный и окопанный; он доставлял необходимую влагу этому небольшому клочку земли, который добровольные труды иноков ревностно охраняли от вторжения всепоглощающих песков. Эта пахня была общим достоянием, как и все в лавре, за исключением каменных келий, принадлежащих отдельным братьям, и являлась источником радости и предметом заботы для каждого. Ради общего блага и для собственной пользы братья таскали в корзинах из пальмовых листьев черный ил с берега Нила; для общей пользы иноки счищали пески с утесов и сеяли на искусственно созданной почве зерно, собирая затем жатву, делившуюся между всеми. Чтобы приобретать одежду, книги, церковную утварь и все, что требовалось для житейского обихода, поучений и богослужения, братья занимались плетением корзин из пальмовых листьев. Старый монах выменивал эти изделия на другие предметы в более зажиточных монастырях противоположного берега. Каждую неделю перевозил Филимон старца в легком челноке из папируса и, поджидая его возвращения, ловил рыбу для общей трапезы.

Жизнь в лавре текла просто, счастливо и дружно, согласно с уставами и правилами, чтимыми и соблюдаемыми чуть ли не наравне со Священным Писанием. У каждого была пища, одежда, защита, друзья, советники и живая вера в промысел Божий.

А чего же еще нужно было человеку в те времена? Сюда люди бежали из древних городов, в сравнении с которыми Париж показался бы степенным, а Гоморра целомудренной; они

спасались от тлетворного, адски испорченного умирающего мира тиранов и рабов, лицемеров и распутниц, чтобы на досуге безмятежно размышлять о долге и возмездии, о смерти и вечности, о рае и аде, чтобы обрести общую веру, общие обязанности, радости и горести.

– Ты поздно вернулся, сын мой, – произнес настоятель, не отрывая глаз от работы, когда к нему приблизился Филимон.

– Топливо стало редко попадаться; мне пришлось далеко идти.

– Монаху не подобает отвечать, когда его не спрашивают. Я не осведомлялся о причине.

Но где ты нашел эти дрова?

– Перед храмом, очень далеко от нашей долины.

– Перед храмом? Что ты там видел?

Ответа не последовало, и Памва поднял на юношу свои пронизательные черные глаза.

– Ты вошел в него, тебя влекло к его мерзостям?

– Я... я не входил... я только заглянул.

– И что ты увидел?.. Женщин?

Филимон молчал.

– Не запретил ли я тебе заглядывать в лицо женщины? Не прокляты ли они навеки вследствие непослушания их праматери, через которую зло проникло в мир? Женщина впервые растворила ворота ада и осталась донныне его привратницей. Несчастный отрок, что ты сделал?

– Они были только нарисованы на стене.

– Так, – произнес настоятель, как бы освободившись от тяжелого гнета. – Но почему ты знаешь, что то были женщины? Если ты не лгал, – а этого я не могу предположить, – то ведь ты еще никогда не видел облика дочери Евы.

– Быть может... быть может... – заговорил Филимон, останавливаясь с видимым облегчением на новой гипотезе, – быть может, то были лишь дьяволы. Это весьма вероятно, потому что они мне показались поразительно прекрасными.

– А-а... откуда же тебе известно, что дьяволы красивы?

– Когда на прошлой неделе мы с отцом Арсением оттолкнули лодку от берега, то увидели возле реки, не особенно близко, два существа с длинными волосами. Большая часть их тела пестрела черными, красными и желтыми полосами... они рвали цветы над водой. Отец Арсений сейчас же отвернулся от них, я же продолжал смотреть, потому что более красивых творений я еще не встречал... Я спросил, почему он отворачивается, и он мне сказал, что это дьяволы, которые искушали блаженного Антония. Позже я припомнил, что искушения приходили к святому подвижнику во образе прекрасной женщины... И вот... и вот... те изображения на стенах были похожи на них... Я подумал... не они ли...

Поняв, что он вот-вот покается в позорном смертном грехе, бедный юноша сильно покраснел, запнулся и замолчал.

– Они тебе понравились! О, безнадежная испорченность плоти! О, коварный враг человеческий! Да простит тебя Господь, мое бедное дитя, как я тебя прощаю. Но отныне ты не выйдешь из ограды нашего сада.

– Не выходить из ограды сада?! Я не могу! Не будь ты моим отцом, я бы сказал – не хочу! Мне нужна воля. Пусти меня! Я не тобой недоволен, а только самим собой. Я знаю, послушание – подвиг, но опасность еще благороднее. Ты видел свет, отчего же и мне не взглянуть на него? Если ты бежал, когда он тебе показался слишком дурным, то почему бы и мне не поступить так же, но по собственному свободному побуждению? Тогда я вновь вернусь сюда, чтобы впредь уже не расставаться с тобой. Но Кирилл<sup>1</sup> со своим духовенством ведь спасаются же...

Филимон, с трудом переводя дыхание, порывисто изливал эту страстную речь из самых глубин своего сердца.

---

<sup>1</sup> Кирилл (кон. IV – перв. пол. V в.) – архиепископ Александрийский.

Наконец он остановился и ждал, что удар доброго настоятеля вот-вот повергнет его на землю. Юноша претерпел бы это наказание с такой же покорностью, как и любой инок этой обители.

Старец дважды поднимал свой посох, чтобы ударить юношу, и дважды опускал его. Наконец он медленно встал и, покинув Филимона, упавшего на колени, направился к жилищу брата Арсения в глубоком раздумье, опустив глаза в землю. В лавре все почитали брата Арсения. Его окружала таинственность, усилившая обаяние его необыкновенной набожности и почти детского смирения и кротости. Во время своих уединенных прогулок монахи иногда шепотом говорили про него, что он прибыл из большого города, быть может, даже из Рима. Простые монахи гордились, что к их общине принадлежал человек, видевший столицу империи. Во всяком случае, настоятель Памва глубоко уважал его, никогда не бил и не делал ему выговоров, – впрочем, может быть, потому, что он не заслуживал ни того, ни другого. В эту минуту вся община подвижников занималась плетением корзин и каждый сидел перед своей кельей. Они видели, как настоятель, очень раздраженный, отошел от коленопреклоненного преступника и поспешил к жилищу мудрого старца. Очевидно, произошло нечто чрезвычайное, грозившее общему их благу.

Более часа пробыл настоятель у Арсения. Они беседовали тихо и вдумчиво. Потом раздалось торжественное гудение, какое слышится тогда, когда двое стариков молятся со слезами и рыданиями.

Филимон все еще неподвижно стоял на коленях. Его душа была переполнена; но чем – он не мог бы сказать. «Сердце знает свое горе, и не войти постороннему в радость его».

Памва вернулся задумчивый и безмолвный. Опустившись на сиденье, он обратился к Филимону:

– «И сказал младший из них отцу: “Отче, дай мне следуемую мне часть имения...” По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил свое имение, живя распутно»... Ты уйдешь, сын мой, но сперва последуешь за мной и поговоришь с Арсением.

Филимон, как и прочая братия, любил Арсения, и, когда настоятель ушел, оставив их наедине, он не ощутил ни стыда, ни боязни и раскрыл перед ним всю свою душу... Он говорил долго и страстно, возражая на кроткие вопросы старца, который прерывал юношу без строгости и напыщенной педантичности монаха и с детской незлобивостью позволял Филимону перебивать его речь. Но в звуке его голоса сквозила грусть, когда он отвечал на мольбы молодого инока.

– Тертуллиан, Ориген, Климент, Киприан жили в миру, а кроме них еще многие другие, имена которых уже забылись. Им была знакома языческая наука, и они боролись и трудились, оставаясь незапятнанными среди людского общества. Почему бы и мне ее не испробовать? Даже патриарх Кирилл был вызван из пещер Нитрии, чтобы занять место на Александрийском престоле.

Медленно поднял старец руку и, откинув густые кудри с чела юноши, заглянул ему в лицо долгим сосредоточенным взором, исполненным кроткого сострадания.

– Так ты хочешь видеть свет, жалкий глупец! Ты хочешь видеть мир?

– Я хочу обратить мир.

– Прежде всего ты должен познать его. Сказать ли тебе, каков мир, который, как тебе кажется, так легко обратить? Я живу вот здесь бедным, старым, безвестным монахом, который молится и постится, чтобы Господь Бог сжалился над его душой. Но ты не подозреваешь, как глубоко я изучил свет. Если бы ты так же его знал, ты был бы рад остаться тут до конца жизни. Некогда при имени Арсения царицы, бледнея, понижали голос. Суeta суeta, всяческая суeta!

При виде моего нахмуренного чела содрогался тот, перед кем трепетал весь мир. Я был воспитателем Аркадия<sup>2</sup>.

– Императора Византии?

– Его, его самого! При нем узнал я свет, который ты хочешь увидеть. А что я видел? Именно то, что предстоит увидеть и тебе: евнухов, державших в страхе своих повелителей, епископов, лобзающих ноги отцеубийц и развратниц, чистых людей, угождающих грешникам и ради единого слова их разрывающих на части своих братьев в противоестественной борьбе. Сверженного гонителя немедленно заменяет толпа новых, изгнанный дьявол возвращается с семью другими, еще худшими. Среди коварства и себялюбия, гнева и похоти, смятения и неурядиц Сатана враждует с собственной братией повсюду, начиная со сладострастного императора, восседающего на троне, до скованного раба, поносящего своего бога.

– Если Сатана изгоняет Сатану, то его царство не долговечно.

– В будущем мире, да, в нашем же мире оно будет крепнуть, побеждать и шириться, пока не наступит конец. Наступают последние дни, о которых вещали пророки, приближается начало страданий, каких еще не знавала земля. Я это давно предвидел. Я предсказал, что нахлынет мрачный, неуправляемый поток северных варваров; я молил об отвращении его, но, уподобляясь вещаниям древней Кассандры, мои пророчества и предостережения ни к чему не приводили. Мой питомец противился моим советам. Страсти юности и козни царедворцев оказались сильнее божественных внушений Создателя. Тогда я перестал надеяться, перестал молиться о благоденствии чудного города и понял, что он не избежит суда. Я видел его духовным оком, как некогда его узрел апостол Иоанн в своем откровении. Отчетливо выступал он передо мной со всеми его грехами среди ужасов неотвратимого разгрома. Я бежал тайно ночью и схоронил себя в пустыне, ожидая конца света. Денно и ночью взываю я к Создателю, чтобы он ниспослал Своих избранных и ускорил пришествие Своего царства. С каждой зарей, в трепете и надежде, подняв взор к небесам, ищу я на них знамение Сына Божьего, жду минуты, когда солнце померкнет, луна обратится в кровь, звезды посыпятся с небесных высот, а подземные огни вырвутся из-под почвы, возвещая кончину мира. И ты хочешь идти в свет, откуда я спасаюсь?

– Богу нужны рабочие, когда близится жатва. Если времена ужасны, то я избран для необычайных дел. Пошли меня и дозвожь сегодня же уйти туда, куда рвется душа – в ряды первых борцов Христа.

– Да будет Его святая воля! Ты пойдешь. Вот письма к патриарху Кириллу. Он станет любить тебя ради меня и ради тебя самого, как я надеюсь. Ступай, и да не оставит тебя Творец. Не лстись на золото и серебро. Не ешь мясного, не пей вина, а живи как доселе, – служителем Всевышнего. Не избегай взора мужчины, но не заглядывайся на лицо женщины. Идем, настоятель ожидает нас у ворот.

Филимон медлил последовать за старцем. У него лились слезы изумления и радости, но в то же время он испытывал и какую-то робость.

– Иди! Зачем печалить и себя, и своих братьев долгими проводами? Из кладовой захвати на неделю продовольствия, – фиников и пшена. Лодка готова: в ней ты спустишься вниз по Нилу. Бог нам заменит ее новой, когда в ней окажется нужда. В продолжение плавания ни с кем не разговаривай, кроме отшельников Божьих. По истечении пяти суток расспроси, как попасть в устье Александрийского канала; когда же доберешься до города, то тебя всякий монах проведет к архиепископу<sup>3</sup>. Дай нам знать о себе через какого-нибудь благочестивого вестника. Иди!

---

<sup>2</sup> Аркадий (395–408) – восточноримский император.

<sup>3</sup> Архиепископ – сан, *патриарх* – административная должность. Поэтому в романе Кирилл именуется то патриархом, то архиепископом.

Молча пересекли они долину, направляясь к пустынному берегу великой реки. Памва был уже там, и его седины озарялись лучами восходящей луны, когда он дряхлой рукой спускал на воду легкий челнок. Филимон бросился к ногам старцев, с рыданиями умоляя их простить и благословить его в путь.

– Нам нечего прощать тебя, – следуй зову внутреннего голоса. Если в тебе заговорила плоть, то она и покарает тебя; мы же не смеем противиться Господу Богу, если твой порыв исходит от духа. Прощай!

Через несколько мгновений челнок с юношей несся по течению быстрой реки, скользя в золотистых сумерках летнего дня. Вскоре на землю спустилась южная ночь, все скрылось во мраке, и только на воде отражался лунный свет, озаряя скалу и на ней – двух коленопреклоненных старцев.

## Глава II

### Умирающий мир

В Александрии, неподалеку от музея, в верхнем этаже дома, построенного и украшенного в древнегреческом стиле была небольшая комната, избранная ее владельцем, вероятно, не ради одного только спокойствия. Правда, она находилась довольно далеко от южной стороны двора, где работали, болтали и ссорились невольницы, но все же сюда долетали голоса прохожих, шум экипажей, проезжавших по оживленной дороге, дикий рев, крики и звон труб из зверинца, расположенного по соседству на другой стороне улицы. Главную прелесть этого покоя составлял, быть может, вид на сады, на цветочные клумбы, кусты, фонтаны, аллеи, статуи и ниши, которые в продолжение семи столетий внимали мудрости философов и поэтов Александрии. Тут поучали философы различных школ, блуждая под сенью платанов, ореховых деревьев и фиговых пальм. Все, казалось, было напоено благоуханием греческой мысли и греческой поэзии с тех пор, как некогда тут прохаживались Птоломей Филадельф с Евклидом и Теокритом, Каллимахом и Ликофроном.

Слева от садов тянулся восточный фасад музея, с картинными галереями, изваяниями, трапезными и аудиториями. В огромном боковом флигеле хранилась основанная отцом Филадельфа знаменитая библиотека, которая еще во времена Сенеки насчитывала четыреста тысяч рукописей, несмотря на то, что значительная часть их погибла при осаде Цезарем Александрии. Здесь, блистая на фоне прозрачной синевы неба, высилась белая кровля – одно из чудес мира, а по ту сторону, между выступами и фронтонами великолепных построек, взор терялся в сверкающей лазури моря.

Покой был отделан в чистейшем греческом вкусе. В общем получалось целостное впечатление спокойствия, чистоты и прохлады, хотя в окна, защищенные сетками от москитов, проникал со двора яркий солнечный свет. В комнате не было ни ковра, ни очага; обстановка состояла из кушетки, стола и кресла, но вся мебель отличалась тонкостью и изяществом форм.

Однако, если бы кто-либо вошел в комнату в это утро, то он, вероятно, не обратил бы внимания ни на меблировку и общий характер помещения, ни на сады музея, ни на сверкающее Средиземное море. Этот покой удовлетворил бы любой вкус, ибо в нем заключалось сокровище, настолько привлекавшее взор, что все остальное меркло и стушевывалось. В кресле сидела молодая женщина, лет двадцати пяти, погруженная в чтение лежавшей на столе рукописи. Очевидно, то была богиня-покровительница этого маленького храма. Ее одеяние, вполне соответствовавшее характеру комнаты, состояло из простого белоснежного ионийского платья старинного образца. Длинное, строгое и изящное, оно падало до полу и стягивалось у шеи; верхняя половина одежды наподобие покрывала ниспадала до бедер, совершенно скрывая очертания бюста и обнажая лишь руки и часть плеч. Ее наряд был лишен всяких украшений, кроме двух пурпуровых полосок спереди, обличавших в ней римскую гражданку. Она носила вышитую золотом обувь и золотую сетку на волосах, спускавшуюся на спину.

Цвет и блеск ее волос трудно было отличить от золота, и сама Афина могла бы позавидовать не только оттенку, длине и густоте, но и прихотливым завиткам этих кудрей. Черты ее лица, руки и плечи были в строгом, но чудесном стиле древнегреческой красоты. При первом же взгляде обнаруживалось прекрасное строение костей и твердость, округлость мускулов, покрытых той блестящей, мягкой кожей, которой отличались древние греки и которая достигалась не только частым купаньем и постоянными телесными упражнениями, но и ежедневными втираниями. Быть может, на нас неприятно подействовали бы чрезмерная грусть ее больших серых глаз, самоуверенность резко очерченных губ и нарочитая строгость осанки. Но чарующая прелесть и красота каждой линии лица и стана не только смягчали, но и совер-

шенно искупали эти недостатки. Поразительное сходство с изображениями Афины, украшавшими простенки комнаты, бросалось в глаза.

Молодая женщина оторвала глаза от рукописи, с пылающим лицом обернулась к садам музея и сказала:

– Да, статуи повержены, библиотека разграблена, ниши безмолвны, оракулы безгласны. И все же... кто посмеет утверждать, что угасла древняя религия героев и мудрецов? Прекрасное не умирает. Боги покинули своих оракулов, но они не отталкивают души тех, кто томится стремлением к бессмертию. Они не поучают уже народы, но не прервали сношений с избранными. Они отвернулись от пошлых масс, но еще благосклонны к Ипатии!

Ее лицо загорелось от восторга, но вдруг она вздрогнула, не то от страха, не то от отвращения. У стены садов, расположенных напротив дома, она увидела сгорбленную дряхлую еврейку, одетую с причудливым и ослепительным, но грубым великолепием. Старуха, очевидно, наблюдала за ней.

– Зачем преследует меня эта старая колдунья? Я ее вижу повсюду. Попрошу префекта, чтобы он узнал, кто она такая, и избавил от нее прежде, чем она меня сглазит своим злобным взглядом. Она уходит – благодарение богам! Безумие! Безумие, и это у меня, женщины-философа! Неужели, вопреки авторитету Порфирия<sup>4</sup>, я верю в дурной глаз и колдовство? Но вот и отец. Он, кажется, прохаживается по библиотеке.

Она еще не успела договорить, как из соседней комнаты вышел старик, тоже, очевидно, грек, но более обычной и менее породистой внешности. Он был смугл и порывист, худ и изящен. Стройному стану и щекам, ввалившимся от усиленных занятий, как нельзя более подходил простой, непритязательный плащ философа – знак его профессии. Он нетерпеливо зашагал по комнате; напряженная работа мысли сказывалась в тревожных движениях, в пронизывающем взоре блестящих глаз.

– Вот оно, нет, снова ускользнуло. Получается противоречие. Несчастный я человек! Если верить Пифагору, символ – это расширяющийся ряд третьих ступеней, а тут все время получаются кратные числа. Ты не подсчитывала сумму, Ипатия?

– Присядь, дорогой отец, и покушай. Ты сегодня еще ни к чему не прикасался.

– Что мне пища! Следует выразить неизъяснимое, закончить труд, хотя бы это было так же трудно, как найти для круга равновеликий квадрат. Может ли дух, парящий в надзвездных сферах, ежеминутно спускаться на землю?

– Ах, – возразила она не без горечи, – как рада была бы я, если бы, всецело уподобляясь богам, мы могли существовать без питания. Но, замкнутые в эту материальную темницу тела, мы должны изящно влачить наши оковы, если у нас есть вкус. В соседней комнате для тебя приготовлены плоды, чечевица, рис, а также и хлеб, если ты его не слишком глубоко презираешь.

– Пища невольников, – заметил он. – Хорошо, пойду и буду есть, хотя и стыжусь еды. Подожди... Говорил ли я тебе, что в школу математики нынче поутру прибыло шесть учеников? Школа растет, расширяется. Мы все-таки победим в конце концов.

Она вздохнула.

– Почему ты знаешь, что они пришли к тебе, как Критиас и Алкивиад к Сократу, – лишь для изучения политических и светских наук? Ах, отец мой, для меня нет более жестокого страдания, как в полдень увидеть у носилок Пелагии толпу тех самых слушателей, которые утром внимали в аудитории моим словам, словно изречениям оракула... А затем вечером... я это знаю – кости, вино и кое-что похуже. Увы, ежедневно Венера всенародная побеждает даже Палладу. Пелагия обладает большей властью, чем я!

---

<sup>4</sup> Порфирий (232–305) – сириец по происхождению, философ, ученик Лонгина и Плотина.

И в голосе Ипатии звучали ноты, наводившие на мысль, что она ненавидит Пелагию человеческой и светской ненавистью, несмотря на то величавое спокойствие и невозмутимость, которые вменяла себе в обязанность.

В это мгновение беседа внезапно прервалась. В комнату торопливо вбежала молодая рабыня и дрожащим голосом доложила:

– Госпожа, – высокородный префект прибыл! Его экипаж ждет уже минут пять у ворот. Он сам идет за мной по лестнице.

– Неразумное дитя, – сказала Ипатия с несколько напускным равнодушием, – может ли это меня обеспокоить? Ну,пусти его.

Дверь растворилась и, предшествуемый по меньшей мере полудюжиной различных благоухающих запахов, появился цветущий мужчина с тонкими чертами лица. На нем было роскошное одеяние сенаторов, и драгоценные украшения сверкали на руках и на шее.

– Наместник цезарей почитает за честь поклониться жертвеннику Афины Паллады и счастлив узреть в лице ее жрицы прелестное подобие богини, которой она служит. Не выдавай меня, – но когда я вижу твои глаза, я могу изъясняться лишь по-язычески.

– Правда всеильна, – отвечала Ипатия и приподнялась, приветствуя его улыбкой и поклоном.

– Да, говорят... Твой достойный отец скрылся. Он, право, слишком скромен и совершенно беспристрастно оценивает свою неспособность к политическим интригам... Ты ведь знаешь, что я всегда спрашиваю совета у твоей мудрости. Как вела себя беспокойная александрийская чернь за время моего отсутствия?

– Стадо, по обыкновению, ело, пило и... любило, по крайней мере я так полагаю, – небрежно отвечала Ипатия.

– И множилось, без сомнения. Ну а как идет преподавание?

Ипатия грустно покачала головой.

– Молодежь ведет себя, как молодежь, и я сам готов признаться в своей вине. «Вижу лучшее, а следую худшему». Но не вздыхай, а то я буду неутешен. Да, знаешь, твоя самая опасная соперница удалилась в пустыню и собирается посетить город богов над водопадами.

– Кого ты имеешь в виду? – спросила Ипатия, с далеко не философским раздражением.

– Конечно, Пелагию. Я встретился с этой обольстительной и самой легкомысленной представительницей слабого пола на полпути между Александрией и Фивами и убедился, что она превратилась в настоящую Андромаху, – стала воплощением целомудренной любви.

– К кому, смею спросить?

– К некоему готскому богатырю. Какие люди рождаются у этих варваров! Право, когда я шел рядом с этим слоном, я так и думал, что он вот-вот раздавит меня.

– Как, – воскликнула Ипатия, – высокородный префект снизошел до беседы с дикарем?

– Его сопровождало около сорока дюжих соплеменников, которые могли бы причинить массу неприятностей робкому префекту, не говоря уже о том, что всегда выгодно оставаться в хороших отношениях с этими готами. После взятия Рима и разграбления Афин, похожих теперь на улей, расхищенный осами, я начинаю серьезно смотреть на этих людей. А что касается этого детины, то он знатного рода и хвалится происхождением от своего прожорливого бога. Он, впрочем, не удостаивал беседой презренного римского наместника, пока его верная и любящая подруга не оказала мне покровительства. Этот малый, впрочем, умеет пожить, и мы скрепили наш дружеский союз самыми утонченными возлияниями Вакху. Но с тобой я не смею говорить об этом. Во всяком случае, я отделался от варваров и рассказал им всякие небылицы, чтобы еще больше подстрекнуть их к сумасбродной поездке. Итак, закатилась звезда Венеры, и восходит светило Паллады. Ну а теперь скажи мне, что делать со святым поджигателем?

– С Кириллом?

– С ним.

– Твори правосудие!

– О, прекрасная мудрость, не произноси этого ужасного слова вне аудитории. В теории оно очень хорошо, но на практике несчастный наместник должен ограничиваться лишь тем, что удобоисполнимо. Если бы я задумал творить отвлеченное правосудие, то Кирилла со всеми его диаконами я должен был бы попросту пригвоздить к крестам на песчаных буграх, за городской чертой. Это довольно просто, но совершенно невозможно, как многие другие отличные и простые вещи.

– Ты боишься народа?

– Да, моя дорогая повелительница. Разве вся чернь не на стороне этого гнусного демагога? Разве не могут здесь повториться ужасные константинопольские события?<sup>5</sup> Я не могу видеть подобные зрелища; право, мои нервы их не выносят. Быть может, я слишком ленив. Ну что ж, пусть так.

Ипатия вздохнула.

– Ах, если бы ты, высокородный префект, решился допустить великое единоборство, исход которого зависит от тебя одного! Не думай, что дело тут только в борьбе между христианством и язычеством...

– А если бы даже так, то ведь ты знаешь, что я христианин, служу христианскому императору и его августейшей сестре...

– Понимаю, – перебила она его, нетерпеливо махнув рукой. – Борьба идет не только между этими двумя религиями, и даже не между варварством и философией. Борьба, в сущности, идет между патрициями и чернью, между богатством, образованием, искусством, наукой – словом, всем, что возвеличивает народ, и дикой шайкой пролетариев, толпой небогатых, которые должны работать на немногих благородных. Должна ли Римская империя повиноваться собственным рабам, или же она должна повелевать ими? Вот вопрос, который разрешится схваткой между тобой и Кириллом. И схватка эта будет кровопролитна.

– Вот как? Я бы не удивился, если бы дело дошло до этого, – возразил префект, пожимая плечами. – Весьма возможно, что в один прекрасный день какой-нибудь бешеный монах проломит мне череп на улице.

– Почему бы и нет? Это весьма возможно в эпоху, когда императоры и консулы ползают на коленях перед могилами ткачей и рыбаков и целуют сгнившие кости презренных рабов.

– Я вполне согласен с тобой, что с практической точки зрения много несообразностей в новой, то есть в христианской, вере, но мир кишит нелепостями. Мудрый не опровергает свою религию, если она ему не по душе, так же как и не негодует на свой болящий палец. Он ничего не в силах изменить и поэтому должен извлечь наилучшее из наихудшего. Скажи мне только, как сохранить порядок?

– И обречь философию на гибель?

– Этого никогда не будет, пока жива Ипатия, чтобы поучать свет. Но помоги мне и дай совет. Что мне делать?

– Я уже сказала тебе.

– Да, в общей форме. Но вне аудитории я предпочитаю практические указания. Например, Кирилл пишет мне, – он ни одной недели не может оставить меня в покое! – будто среди евреев возник заговор, имеющий целью перерезать христиан. Вот этот документ. Но, насколько мне известно, существует прямо противоположный замысел, и христиане намереваются перерезать всех евреев... А между тем я не могу оставить без внимания это послание.

– Я не согласна с тобой, мой повелитель.

– Если что-либо произойдет, – подумай только, какие доносы и обвинения полетят в Константинополь!

---

<sup>5</sup> Намек на религиозные распри, происходившие в начале V в. в Византии и сопровождавшиеся множеством жертв.

– Ты не должен принимать к сведению это послание уже вследствие того тона, в котором оно написано. Тебе это воспрещает твое личное достоинство и честь государства. Прилично ли тебе объясняться с человеком, отзывающемся о жителях Александрии, как о стаде, которое царь царей поручил его руководству? Кто управляет, – ты, высокородный префект, или этот гордый епископ?

– Право, моя прекрасная повелительница, я уже перестал вникать в этот вопрос.

– Ну, так объяви ему, но только устно, что сообщение, полученное им из частных источников, касается не его, как епископа, а тебя, как правителя. Поэтому ты его можешь принять к сведению лишь в том случае, если он представит формальный доклад в суд.

– Прекрасно! Царица дипломатов и философов! Я повинуюсь тебе. Ах, зачем ты не Пульхерия?<sup>6</sup> Впрочем, тогда в Александрии царил бы мрак и Орест не удостоился бы высокого счастья поцеловать руку, которую Паллада, сотворившая тебя, заимствовала у Афродиты.

– Вспомни, что ты христианин, – заметила Ипатия с легкой улыбкой.

Префект простился с ней, миновал приемный покой, переполненный аристократическими учениками и посетителями Ипатии, и, раскланявшись с ними, прошел мимо, обдумывая удар, который он готовился нанести Кириллу. Перед дверями стояло много экипажей, рабов, державших зонтики своих господ, толпа мальчишек и торговцев. Свита префекта наделяла зевах пинками и подзатыльниками, но они не роптали и, смотря на показавшегося сановника, думали – как могущественна Ипатия, если сам великий наместник Александрии удостоил ее своим посещением. Правда, среди толпы виднелись и недовольные, хмурые лица, ибо в большинстве своем она состояла из христиан и беспокойных политиков, потомков александрийцев – «мужей македонских».

Входя в колесницу, префект увидел стройного молодого человека, столь же роскошно одетого, как и он сам. Он спускался по лестнице и небрежным движением руки подозвал негр-тенка, державшего зонтик.

– Ах, Рафаэль Эбн-Эзра! Мой дорогой друг! Какой благосклонный Бог... я хотел сказать – мученик, привел тебя в Александрию именно тогда, когда ты мне нужен?! Садись рядом со мной и поболтаем немного по пути к зданию суда.

Молодой человек принял приглашение. Он приблизился и низко поклонился префекту, хотя этот поклон не только не смягчал, но, по-видимому, и не должен был смягчать пренебрежительного и недовольного выражения его лица. Он спросил, растягивая слова:

– Для чего наместник цезарей оказывает такую великую честь одному из своих покорных слуг, который... ну и так далее. Твоя проницательность подскажет тебе остальное.

– Не беспокойся, я не намереваюсь занимать у тебя деньги, – со смехом отвечал Орест, когда Рафаэль поместился рядом с ним.

– Рад это слышать. В семье достаточно и одного ростовщика. Мой отец копил золото, а я растрачиваю его и думаю, что это все, что требуется от философа.

– Не правда ли, как красива эта четверка белых никейских коней? Только у одного из них серое копыто.

– Да... Но я прихожу к убеждению, что лошади надоедают, как и все остальное: они то хворают, то разбивают седока и вообще тем или иным способом нарушают его душевное равновесие. В Кирене меня чуть до смерти не замучили поручениями по части собак, лошадей, луков, требующихся его святейшеству, престарелому Нимвроду, епископу Синезию.

– Теперь займись на минуту низменными земными делами – политикой. Кирилл мне пишет, что евреи собираются перерезать всех христиан.

– Прекрасное, доброе дело! Я бы сердечно порадовался, если бы это подтвердилось. И думаю, что это соответствует истине.

---

<sup>6</sup> Пульхерия (399–453) – византийская императрица, дочь императора Аркадия.

– Клянусь бессмертными богами... я хочу сказать святыми! Неужели ты в этом уверен, Рафаэль?

– Да отвратят от меня четыре архангела подобные помыслы. Меня это нисколько не касается. Я только думаю, что мой народ состоит из таких же глупцов, как и прочий мир, и, вероятно, носится с подобными планами. Ему это, конечно, не удастся, и потому ты не должен тревожиться. Если же ты придаешь значение этим толкам, – я им значения не придаю, – то я могу расспросить обо всем одного из раввинов, так как приблизительно через неделю должен посетить синагогу по делам.

– О, ленивейший из смертных! Мне нужно сегодня же дать ответ Кириллу.

– Лишний повод не осведомляться у моих одноплеменников! В таком случае ты можешь заявить со спокойной совестью, что ничего не знал об этом деле.

– Хорошо. По здравом размышлении такое неведение кажется мне надежной точкой опоры для несчастного государственного мужа. Поэтому не торопись.

– Могу уверить твою светлость, что мне это и в голову не приходит...

– Смотри, вон Кирилл сходит по ступеням Цезареума<sup>7</sup>. Представительный мужчина, хотя и похож на свирепого медведя.

– А за ним следуют его птенцы. Какая мошенническая физиономия вон у того стройного молодца, диакона, псаломщика или что-то в этом роде, судя по одежде.

– Вот они шепчутся вместе. Да ниспошлет им небо приятные думы и более привлекательные лица!

– Аминь! – воскликнул Орест с насмешливой улыбкой.

Он произнес бы это с большим убеждением, если бы мог слышать ответ Кирилла Петру:

– Он идет от Ипатии, говоришь ты? Но ведь он только сегодня поутру вернулся в город.

– Я видел его лошадей перед ее дверями, когда, с полчаса тому назад, шел сюда по улице музея.

– Мир, плоть и дьявол знают своих приверженцев, которые не придут к нам, пока у них есть возможность посещать своих собственных пророков. Нечего и ожидать этого, Петр.

– А если убрать с дороги этих пророков?

– Тогда, за отсутствием лучшего развлечения, они вспомнили бы и о нас. Царство Божие в Александрии попирается ногами и власть принадлежит не епископам и священникам единого Бога, а князьям мира сего, с их гладиаторами, ростовщиками и паразитами. И так будет всегда, пока высятся эти аудитории, эти египетские храмы, полные языческих обольщений, эта выставка Сатаны, где дьявол преображается в ангела света, подражает христианской добродетели и украшает своих слуг наподобие служителей истины.

Сопровождаемые небольшой кучкой параболанов<sup>8</sup>, Кирилл и Петр направились по набережной и внезапно скрылись в темном переулке тесного и нищего матросского квартала. Но мы не будем сопутствовать им в делах милосердия, а подслушаем беседу наших изящных друзей.

– За маяком дует отличный ветер, Рафаэль. Это очень хорошо для моих кораблей с пшеницей.

– Они уже отплыли?

– Да. А что? Первую флотилию я отправил три дня тому назад, а прочие снимутся сегодня с якоря.

– А, так ты, значит, ничего не слышал о Гераклиане?<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Цезареум – часть древней Александрии, где находились дворцы, храмы, музей, библиотека и гробница Александра Великого. В христианский период здесь был воздвигнут из развалин храма Сераписа христианский храм.

<sup>8</sup> Параболаны – низшие духовные служители в древней церкви.

<sup>9</sup> Гераклиан – наместник Африки, христианин.

– Гераклиан? Какое отношение – во имя всех святых – имеет наместник Африки к моим судам с пшеницей?

– О, никакого. Меня это дело не касается, но я слышал, что он готовится восстание. Но вот мы уже у твоих ворот.

– Он готовится восстание? – повторил Орест испуганным голосом.

– Он хочет восстать и овладеть Римом.

– Всеблагие боги! И хочу сказать – Боже мой... Вот новая забота. Войди и поведай все несчастному жалкому рабу, именуемому наместником. Но говори тихо, ради самого неба! Надеюсь, что эти предатели-слуги не расслышали твоих слов.

– Нет ничего проще, как сбросить их в канал, если они слышали что-либо, – произнес Рафаэль, следуя с невозмутимым спокойствием за взволнованным префектом.

Бедный Орест остановился, дойдя до покоя, выходившего на внутренний двор. Тут он знаком позвал еврея, запер дверь, бросился в кресло, уперся руками в колени и, охваченный страхом и смятением, уставился в лицо Рафаэля.

– Скажи мне все, – скажи мне все немедленно!

– Я уже сказал тебе все, что знаю, – ответил Рафаэль, спокойно опускаясь на диван и играя кинжалом, украшенным драгоценными камнями. – Я думал, что тебе известна эта тайна, а то бы я ничего не сказал. Меня, ты знаешь, это ведь не касается.

Оресту, как большинству слабых и развращенных людей, – римлян в особенности, – была присуща звериная жестокость, и она теперь проснулась.

– Ад и фурии! Бесстыдный провинциальный раб! Твоя наглость не знает пределов. Знаешь ли ты, кто я, проклятый еврей? Открой мне без утайки всю правду, или, клянусь головой императора, я у тебя ее вырву раскаленными клещами.

На лице Рафаэля появилось упрямое выражение. Зловещее спокойствие сквозило в его улыбке, когда он отвечал:

– Тогда, мой милый наместник, ты окажешься первым человеком на земле, который заставил меня, еврея, сказать или сделать то, чего я не хочу.

– Увидим! – воскликнул Орест. – Сюда, рабы! – и он громко ударил в ладони.

– Успокойся, высокородный префект, – произнес Рафаэль, приподнимаясь. – Дверь заперта, перед окнами сетка от москитов, а этот кинжал отравлен. Если со мной что-либо случится, ты смертельно оскорбишь всех еврейских ростовщиков и, кроме того, умрешь в мучительной агонии в три дня. Тебе не удастся занять денег у Мириам. Ты потеряешь самого заманчивого из твоих друзей и оставишь финансы префектуры, равно как и свои собственные, в большом беспорядке. Гораздо благоразумнее будет, если ты спокойно сядешь и выслушаешь то, что я могу тебе сообщить, как философ и преданный ученик Ипатии. Не можешь же ты требовать от человека, чтобы он сказал тебе то, чего сам не знает.

Орест, оглядев комнату и убедившись, что ускользнуть нельзя, опять спокойно уселся в кресло. Когда рабы стали стучать в дверь, он настолько уже овладел собой, что приказал прислать не палача, а мальчика с вином.

– Ах вы, евреи, – сказал он, пытаясь смехом загладить свою вспышку. – Вы до сих пор остались такими же воплощенными дьяволами, какими были при Тите!

– Именно, мой милый префект. Но обсудим сначала это дело, которое, действительно, важно, по крайней мере, для язычников. Гераклиан во всяком случае поднимет восстание – это я узнал от Синезия. Он снарядил войско, уже готов отплыть в Остию, задержал собственные суда с пшеницей и собирается написать тебе, чтобы ты попридержал и твой груз зерна, дабы таким образом уморить голодом и Вечный город, и готов, и сенат, и императора, и всю Кампанию. Конечно, только от тебя зависит, согласиться или нет на это разумное, и, пожалуй, незначительное требование.

– А это, в свою очередь, зависит от его планов.

– В самом деле, нельзя требовать, чтобы ты... мы будем выражаться иносказательно... Если вся затея не стоит связанных с нею трудов...

Орест сидел в глубоком раздумье.

– Нет, – произнес он почти бессознательно, но тут же гневно взглянул на еврея: он боялся, как бы не выдать себя. – А почему мне знать, не расставляешь ли ты мне одну из твоих адских ловушек? Скажи мне, как узнал ты все это, или, клянусь Геркулесом, – в это мгновение он совершенно забыл о своем христианском вероисповедании, – клянусь Геркулесом и двенадцатью олимпийцами...

– Не употребляй выражений, недостойных философа. Я почерпнул эти сведения из верного и простого источника. Гераклиан вел переговоры о займе с раввинами Карфагена, но вследствие боязни и верноподданнических чувств, а быть может и того и другого вместе, они в конце концов отказались. Он знал, как и все мудрые наместники, что евреям бесполезно угрожать, и поэтому обратился ко мне. Я никогда не давал денег заимообразно – это противно духу философии, но я его свел к старой Мириам, которая не побоится вести дела с самим чертом. Не знаю, получит ли он деньги, знаю только, что мы владеем его тайной. Если же требуются все подробности, то тебе их сообщит старуха, которая любит интриги не меньше фалернского вина.

– Так, так... Ты мне истинный друг...

– Да, без сомнения. А вот и Ганимед с вином, он является как раз вовремя. Да здравствует богиня мудрых советов, мой благородный повелитель! Что за вино!

– Настоящее сирийское, – огонь и мед! Ему исполнится четырнадцать лет в следующий сбор винограда. Уходи, Ганимед! Смотри, не подслушивай! Итак, о чем же мечтает наместник?

– Он жаждет получить вознаграждение за убийство Стилихона<sup>10</sup>.

– Как? Разве с него не достаточно быть властителем Африки?

– Я думаю, он считает, что этот сан вполне оплачен его заслугами за последние три года.

– Да, он спас Африку.

– А следовательно и Египет. Ты, вместе с императором, быть может, в долгу у него.

– Дорогой друг, мои долги слишком многочисленны, чтобы я мог надеяться погасить когда-либо хоть один из них. Какую же награду он требует?

– Порфиру.

Орест восторженно и погрузился в глубокое раздумье. Рафаэль наблюдал за ним несколько мгновений.

– Могу я теперь удалиться, мой благородный патриций? Я сказал все, что знал. Если я теперь не отправлюсь домой, чтобы закусить и подкрепиться, то вряд ли успею разыскать для тебя старую Мириам и обделать с ней наше небольшое дельце до заката солнца.

– Постой! Как велика численность его войска?

– Уверяют, что около сорока тысяч. Бессовестные донатисты<sup>11</sup> пойдут за ним все, как один человек, если только его финансы позволят ему заменить их дубины сталью.

– Прекрасно, ступай... Так! Сто тысяч было бы достаточно, – произнес он задумчиво, когда Рафаэль с низким поклоном покинул комнату. – Он не наберет столько. И все-таки, право, не знаю... У этого человека голова Юлия Цезаря. Арсений, этот безумец, поговаривал о присоединении Египта к Западной империи. Мысль не дурна. Гераклиан – римский император, я – неограниченный владыка по эту сторону моря... Затем нужно хорошенько сравнить донатистов и церковников, чтобы они с полным благодушием перерезали друг другу горло...

<sup>10</sup> Стилихон Флавий – родом вандал, блестящий римский полководец; вел непрерывную борьбу с германцами, дважды отразил Алариха. Был предательски убит завистливым императором Гонорием в 408 г.

<sup>11</sup> Донатизм – секта в африканской церкви, возглавлявшаяся епископом Донатом, жившим в IV в.

Не иметь более на шее Кирилла с его шпионством и сплетнями... Это было бы недурно... Но сколько хлопот и треволнений!

С этими словами Орест вышел из покоя, чтобы принять третью теплую ванну.

## Глава III

### Готы

Молодой монах уже два дня плыл по Нилу. Справа и слева виднелись красивые города и виллы, возбуждавшие томительное любопытство. Он долго глядел назад, пока они не скрылись за выступом берега, и ему страстно хотелось знать, каковы вблизи эти роскошные здания и прекрасные сады, какой жизнью живут те многие тысячи людей, которые хлопотливо теснятся на набережных и непрерывной вереницей идут и едут по широкой дороге вдоль Нила.

На крутом повороте реки он увидел пестро раскрашенную барку. На палубе ее мелькали вооруженные люди в неуклюжем иноземном одеянии и с дикими возгласами следили за каким-то большим и бесформенным зверем, барахтавшимся в воде. На носу стоял человек исполинского роста. В правой руке он держал наготове гарпун, а в левой – веревку от другого гарпуна, вонзившегося в громадный окровавленный бок гиппопотама. Животное билось несколько поодаль от барки, разбрасывая пену и брызги. Последний воин, стоявший у руля, держал по веслу в каждой руке и неуклонно направлял барку на чудовище, несмотря на его неожиданные и порывистые повороты. Любопытство овладело Филимоном. Он подплыл почти к самой барке, не замечая, что за ним следят томные черные глаза нескольких существ, сидевших под изукрашенным навесом около кормы судна.

Это были женщины... Коварные обольстительницы весело болтали, встряхивали блестящими кудрями в золотых сетках и улыбались. Вспыхнув от смущения, Филимон схватился за весла, чтобы бежать от соблазна, но гиппопотам его увидел и ринулся, освирепев от боли, на беззащитный челнок. Веревка гарпуна захлестнулась вокруг стана юноши, лодка мгновенно опрокинулась вместе с человеком, и чудовище, широко разинув огромную клыкастую пасть, стало настигать пловца, боровшегося с течением.

К счастью, Филимон, в отличие от большинства монахов, часто купался и умел плавать. Чувство страха ему было чуждо: как и прочие отшельники, он с детства привык размышлять о смерти, и она не внушала ему ужаса даже в эту минуту, когда жизнь ему улыбалась. Но этот монах был мужчина и, кроме того, молодой мужчина, не желавший умереть без борьбы, не отомстив за себя. Он быстро освободился от веревки и выхватил короткий нож, свое единственное оружие. Быстро нырнув, юноша избег пасти страшного зверя и напал на него с тылу. Варвары кричали от восторга. Гиппопотам бешено метнулся на нового врага и одним движением челюстей раздробил пустой челнок. Но это нападение оказалось роковым для животного: барка очутилась подле него, и, когда гиппопотам открыл свою незащищенную широкую грудь, гарпун, брошенный мускулистой рукой великана, поразил его прямо в сердце. Зверь судорожно вытянулся, и огромное синевато-черное тело его всколыхнулось и всплыло над водой.

Бедный Филимон! Он оставался безмолвным среди общих восторженных возгласов и одиноко плавал вокруг своего разбитого маленького челнока. Тоскливо поглядывал он на далекие берега и думал, что пожалуй лучше добраться до них во что бы то ни стало, лишь бы спастись от... Но тут он вспомнил крокодилов и обратился вспять. Однако страх перед соблазнительными женщинами привел его к окончательному решению: крокодилов, быть может, он избегнет, а кто спасется от женщин? Он храбро поплыл к берегу, но вдруг вокруг его тела обвилась веревка и дружеская рука варвара при общем одобрительном смехе вытащила его на палубу. Никто не сомневался, конечно, что юноша обрадуется оказанной ему помощи, и добродушные готы совершенно не понимали причины его сдержанности. Филимон с удивлением смотрел на этих странных людей, на их бледные лица, круглые головы, широкие скулы, коренастые сильные фигуры, рыжие бороды и желтые волосы, причудливыми узлами связанные на макушке. Их неуклюжие одеяния, представлявшие смесь римской и египетской моды, состо-

яли наполовину из неизвестных ему мехов. Безвкусно изукрашенные самоцветными камнями, римскими монетами и драгоценностями в виде ожерелий, одежды эти, однако, носили на себе следы многих невзгод и схваток. Только рулевой, подошедший теперь к борту, чтобы посмотреть на гиппопотама и помочь поднять на палубу грузное животное, носил первобытный простой наряд своего народа: белые полотняные штаны, стянутые ремнем, кожаный нагрудник и медвежью шкуру вместо плаща. Язык варваров был совершенно непонятен Филимону, и в этом отношении мы окажемся счастливее его.

– Какой это рослый, отважный юноша, Вульф, сын Овиды! – обратился богатырь к старому воину в медвежьей шкуре. – Он, пожалуй, не хуже тебя сумеет носить шубу в этом пекле.

– Я сохранил одежду моих предков, Амальрих амалиец; Асгард<sup>12</sup> я сумею найти в той же одежде, в какой некогда брал Рим.

Костюм богатыря представлял собой смесь римского военного и гражданского одеяния. На нем был шлем, панцирь и сенаторская обувь; с дюжину золотых цепочек обвивалось вокруг шеи, и на всех пальцах сверкали драгоценности. Он отвернулся от старика с нетерпеливой насмешливой улыбкой.

– Асгард! Асгард! Если ты спешишь достигнуть Асгарда по этой вырытой в песке канаве, то расспроси юношу, далеко ли нам еще плыть.

Вульф тут же исполнил его желание и обратился к монаху с вопросом, на который тот мог ответить лишь отрицательным движением головы.

– Спроси его по-гречески.

– Греческий язык – наречие рабов. Пусть им пользуются невольники, – я от него отрекаюсь.

– Эй, девушки, подойдите-ка сюда! Пелагия, ты, во всяком случае, понимаешь язык этого молодца. Спроси его, далеко ли еще до Асгарда?

– Ты должен вежливее со мной обращаться, мой суровый герой, – ответил нежный голос из-под палубного навеса. – Красоту следует просить, ей нельзя приказывать.

– Ну так подойди сюда, мое оливковое дерево, моя газель, мой лотос... моя... ну, как там еще называется эта чепуха, которой ты меня учила недавно. Приди и спроси этого дикого человека из песчаной пустыни, далеко ли до Асгарда от этих проклятых кроличьих нор.

Занавес шатра отдернули и, сладострастно раскинувшись на мягком ложе, под опахалами из павлиньих перьев, сверкая рубинами и топазами, показалось существо, какого Филимон никогда еще не видел.

То была женщина лет двадцати двух, с чувственными, обольстительными формами гречанки. Под чудесным золотистым загаром кожи просвечивали тончайшие разветвления вен, а маленькие босые ножки были красивее, чем у Афродиты, и нежнее груди лебедя. Мягкие округленные контуры бюста и рук явственно обозначались под прозрачной тканью платья, а стан был перехвачен шелковой шалью оранжевого цвета, богато затканной гирляндами из раковин и роз. Густые кудри темных волос, перевитые золотом и драгоценностями, лежали на подушке, а темные глаза сияли, как алмазы, из-под век, подведенных сурьмой. Женщина медленно подняла руку, медленно раскрыла губы и на чистейшем, благозвучном греческом наречии повторила вопрос своего исполинского возлюбленного. Она дважды повторила слова, прежде чем юный монах, преодолев очарование, смог ей ответить.

– Асгард? Что такое Асгард?

Красавица взорами испросила новых указаний от богатыря.

– Град бессмертных богов, – торопливо и серьезно вмешался старый воин, обращаясь к молодой женщине.

---

<sup>12</sup> Асгард – в скандинавской мифологии жилище богов асов, победивших прежних богов ванов.

– Град Бога – на небесах, – возразил Филимон переводчице, отвернувшись от ее сияющих, похотливых и испытующих глаз.

Все, кроме вождя, пожавшего плечами, встретили этот ответ единодушным хохотом.

– Висеть в вышине на облаках или тащиться по Нилу – для меня, в сущности, безразлично, – сказал Амальрих. – Мне сдается, что нам так же легко, или вернее, так же трудно долететь до Асгарда, как доплыть до него на веслах по этой длинной канаве. Пелагия, спроси, откуда течет река.

Пелагия повиновалась, и тут последовал беспорядочный набор сказок, которыми Филимона в детстве развлекали монахи.

– Нил направляется к востоку мимо Аравии и Индии; путь идет лесами, населенными слонами и женщинами с собачьей пастью, а дальше тянутся Гиперборейские горы, где царит вечный мрак... Одна треть реки идет оттуда, другая из южного океана, через лунные горы, куда еще не ступала человеческая нога, а последняя треть из страны, где живет Феникс. Далее следуют водопады, а по ту сторону порогов тянутся лишь песчаные бугры да развалины, кишачище дьяволами. А что касается до Асгарда, то о нем никто никогда не слыхивал.

Все озадаченнее и смущеннее становились лица слушателей, а Пелагия все продолжала переводить путаясь и перевирая. Наконец великан хлопнул себя рукой по колену и торжественно поклялся, что больше ни шагу не сделает вверх по Нилу. А Асгард пусть себе гниет, пока не погибнут боги.

– Проклятый монах, – пробормотал Вульф. – Разве об этом может что-нибудь знать такая жалкая тварь?

– Почему бы ему не знать столько же, как и той обезьяне – римскому наместнику? – спросил Смид.

– О, монахам все известно, – вмешалась Пелагия. – Они странствуют на сотни и тысячи миль по Нилу и пересекают пустыню, переполненную чертями и чудовищами, где всякий другой лишился бы рассудка или был бы немедленно разорван на части.

– Почему бы ему не знать столько же, сколько знает префект? Это ты правильно заметил, Смид. Я думаю, что писец наместника нагло лгал, когда уверял нас, что до Асгарда не более десяти суток езды.

– Зачем ему было лгать?

– До причин мне нет дела. Я только говорю, что наместник походил на лжеца, а этот монах – на честного парня. Ему я и верю, и больше об этом ни слова!

– Не смотри на меня так сердито, викинг Вульф. Я не виновата, я ведь только повторяла то, что мне рассказывал монах, – прошептала Пелагия.

– Кто сердито смотрит на тебя, моя царица? – взревел амалиец. – Пусть-ка он выйдет, и клянусь молотом Тора...

– Да разве тебе кто-нибудь сказал хоть слово, глупенький? – стала успокаивать его Пелагия, ждавшая каждую минуту какой-нибудь бешеной вспышки. – Никто ни на кого не сердится, только я недовольна тобой: ты все перевираешь и во все вмешиваешься. Берегись, я исполню свою угрозу и убегу с викингом Вульфом, если ты не будешь вести себя хорошо. Гляди, все ждут от тебя речи...

Амалиец встал.

– Слушайте, Вульф, сын Овиды, и все вы, воины! Если мы ищем богатств, то мы не найдем их среди песчаных бугров. Женщин надо? Но лучше этих мы не увидим даже у чертей и драконов. Не смотри так грозно, Вульф. Ведь ты же не намерен взять в жены одну из тех девушек с собачьими мордами, о которых рассказывал монах? Вернемтесь же обратно, пошлемте послов в Испанию, к одному из вандалских племен, – им уже успел надоесть Адольф<sup>13</sup>, я же

---

<sup>13</sup> Адольф – вождь вандалского племени, провозглашенный королем на севере Испании.

упрочу их положение. Мы соберем рать и возьмем Византию. Я стану августом, Пелагия будет августой, вы, Вульф и Смид, превратитесь в цезарей, а монаха мы сделаем начальником над евнухами. Выбирайте любое, пора пожить спокойно. Но по этой проклятой горячей луже я больше не поплыву. Герои, спросите ваших девушек, а я переговорю со своей. Ведь все женщины – пророчицы.

– Если они не потаскушки, – пробормотал Вульф себе в бороду.

– Я последую за тобой на конец света, мой повелитель, – со вздохом произнесла Пелагия. – Но в Александрии, конечно, приятнее быть, чем здесь...

Вульф гневно вскочил.

– Выслушай меня, Амальрих амалиец, сын Одина, и все вы, герои! – сказал он. – Когда мои предки поклялись быть слугами Одина и уступили царство священным амалийцам, сынам Эзира, какой договор был заключен между вашими предками и моими? Не решено ли было, что мы направимся к югу и неуклонно будем туда идти, пока не дойдем до города Асгарда, обители Одина, и не передадим Одину господство над вселенной? Не соблюдали ли мы наш обет? Не были ли мы неизменно преданы тебе, сын Эзира?

– Вульфа, сына Овиды, никто не уличит в нарушении клятвы, данной другу или недругу, – сказал амалиец.

– Почему же тогда его друг не исполняет своего обещания? Почему он изменил клятве? Где найдет стадо вожака, когда бык бросил его и валяется в грязи?

– Разве Один еще не насытился пролитой нами кровью? Если он в нас нуждается, пусть ведет нас сам! – возразил амалиец.

– Нам нужно отдохнуть перед новым походом! – кричал один из воинов.

– Вы ведь слышали, – монах говорит, что мы никогда не проедем через пороги, – кричал другой.

– Мы сперва заткнем ему глотку, с его бабьими рассказами, а потом сделаем то, что нужно, – вскричал Смид и, вскочив с места, взялся одной рукой за боевой топор, а другой стиснул горло Филимона. Еще мгновение – и монаха не стало бы.

Филимон впервые в жизни ощутил прикосновение врага, и новое, еще неведомое чувство овладело всем его существом. Он вырвался из рук гота, остановил левой рукой занесенный топор, а правой схватил противника за пояс.

Женщины тщетно упрашивали своих любовников разнять борцов.

– Ни за какие блага! Силы равны и схватка бесподобна! Во имя всех валькирий... смотрите, они лежат на полу и Смид очутился под монахом!

Так оно и было в действительности. Филимон мог бы вырвать боевой топор у гота, но к величайшему удивлению зрителей он выпустил противника, а сам поднялся с пола и тихо сел на свое прежнее место. Заговорившая совесть заглушила ту жажду крови, которая охватила его, когда он ощутил врага под собой.

Все присутствовавшие онемели от удивления: они были убеждены, что он воспользуется своим неотъемлемым правом и на законном основании раскроит противнику череп. Они искренно погоревали бы о подобном исходе, но, как честные люди, не помешали бы монаху. Правда, чтобы отплатить за гибель товарища, они, быть может, содрали бы кожу с победителя, или изобрели бы что-либо иное, дабы рассеять свою скорбь и доставить отраду душе умершего.

С боевым топором в руке Смид встал и оглянулся кругом, точно спрашивая, чего от него ожидают. Потом замахнулся, готовясь нанести удар.

Филимон не тронулся с места и спокойно смотрел ему в лицо.

Зоркий глаз старого воина заметил, что судно поплыло вниз по Нилу и что никто не пытался направить его против течения. Тогда он отложил в сторону свой топор и в раздумье опустил на сиденье, поразив всех не меньше, чем Филимон.

– Так долго длилась борьба и никто не убит! Это позор! – воскликнул кто-то. – Мы должны видеть кровь, и мы лучше полюбуемся на твою кровь, чем на кровь того, кто лучше тебя!

С этими словами один из готов кинулся на Филимона. В этом порыве сказалось настроение всех: дремлющий волк проснулся и жаждет крови. Не в опьянении или в припадке безумия, как кельты и египтяне, но с хладнокровной жестокостью тевтонов поднялись готы все разом и, повалив Филимона на спину, обсуждали, каким способом его умертвить.

Филимон бесстрастно покорился своей участи, если можно назвать покорностью такое душевное состояние, когда внезапное удивление и новизна впечатлений разрушают все привычки человеческой природы и самые невероятные поступки и страдания принимаются, как нечто разумное и неизбежное. Да и кроме того, он отправился странствовать, чтобы ознакомиться с миром, и теперь увидел пути его. Филимон приготовился ко всему и спокойно ждал развязки. Она тут же наступила бы и притом в неописуемо отвратительной форме.

Но и у грешниц порой бьется сердце в груди, и Пелагия громко вскричала:

– Амальрих! Амальрих! Не допускай этого. Я не могу этого видеть!

– Воины – свободные люди, моя дорогая! Они знают, что делают. Жизнь подобной твари не может иметь цены для тебя!

Не успел он ее удержать, как она уже вскочила со своей подушки и бросилась в толпу хохотавших дикарей.

– О пощадите его! Пощадите его ради меня!

– Красавица! Не мешай забаве воинов!

В одно мгновение сорвала она с себя плащ и накинула его на Филимона. Она стояла перед ними, неподвижная и прекрасная. Все очертания ее прекрасного стана обрисовывались под тонкой кисеей хитона, и готы невольно отступили, когда она воскликнула:

– Не смейте прикасаться к нему!

Пелагию они уважали, правда, не больше чем остальное человечество, но в это мгновение она была не александрийская Мессалина, а просто девушка. Охваченные древним инстинктом почитания женщины, они смотрели, не отрываясь, на ее глаза, выражавшие не только великодушное сострадание и благородное негодование, но и чисто женский страх. Они отошли в сторону и перешептывались.

С минуту нельзя было сказать, что восторжествует – добро или зло. Затем Пелагия ощутила на своем плече тяжелую руку и, обернувшись, увидела Вульфа, сына Овиды.

– Назад, красавица! Товарищи, я требую юношу для себя. Смид, отдай мне его – он твой. Ты мог его убить, если бы захотел. Ты этого не сделал, и никто, кроме тебя, не смеет этого сделать.

– Дай его нам, викинг Вульф! Мы так давно не видали крови.

– Вы увидали бы целые потоки ее, если бы решились идти вперед. Этот парень мой, он храбрый парень. Он сегодня победил воина и пощадил его; за это мы из него сделаем тоже воина.

Вульф приподнял распростертого монаха.

– Ты теперь принадлежишь мне! Любишь ли ты войну?

Филимон, не понимавший языка, на котором тот обратился к нему, кивнул головой. Впрочем, говоря по совести, он не ответил бы отрицательно, даже если бы понял смысл вопроса.

– Он покачал головой! Он не любит войны! Он трус! Отдай его нам!

– Я уже убивал людей, когда вы еще стреляли в лягушек! – вступился Смид. – Послушайте меня, сыны мои! Трус сильно сопротивляется в первое мгновение, но быстро ослабевает. Рука же храброго становится тем тверже, чем дольше он держит противника, ибо на него

нисходит дух Одина. Я испытал прикосновение этого юноши и уверяю вас, из него выйдет мужчина. Я его сделаю мужчиной. А пока мы извлечем из него пользу. Дайте ему весло!

Воины снова взялись за весла, вложив одно из них в руки Филимона, который заработал с такой силой и ловкостью, что его мучители, в сущности добродушный народ, несмотря на некоторую склонность к убийству и грабежу, начали ласково трепать его по плечу. А затем все, не занятые греблей, отправились осматривать только что убитого диковинного зверя.

## Глава IV

### Мириам

На той же неделе, рано утром, любимая рабыня Ипатии с испуганным лицом вошла в комнату своей госпожи.

– Старая еврейка, колдунья, которая так часто подсматривала за тобой последнее время... Вчера вечером она заглянула в дверь и страшно испугала нас. Мы все сказали, что если у кого дурной глаз, то именно у нее.

– Что ей нужно?

– Она внизу и хочет говорить с тобой, госпожа. Я сама не боюсь ее, потому что на мне надет амулет. Наверное, и ты его носишь?

– Глупая девушка! Те, кто, подобно мне, посвящены в таинства богов, презирают духов, потому что могут повелевать ими. Неужели ты думаешь, что любимица Афины Паллады унижится до волшебства? Пошли ее наверх...

Девушка удалилась, бросив на свою госпожу боязливый взгляд. Вскоре она вернулась со старой Мириам, держась из предосторожности позади. Мириам вошла, поклонившись до земли, и не спускала глаз с гордой красавицы, которая приняла ее сидя.

Лицо еврейки было худощаво, а полные резко очерченные губы носили отпечаток силы и чувственности. Но что мгновенно привлекло и приковало внимание Ипатии – это черные глаза старухи, со странным сухим блеском. Окруженные густой каймой ресниц, они горели, выделяясь на фоне черных с проседью кудрей, покрытых золотыми монетами. Ипатия не могла оторваться от этих глаз. Она покраснела и рассердилась совсем не по-философски, когда заметила, что старуха смотрит на нее не отрываясь. После краткого молчания Мириам вытащила из-за пазухи письмо и передала его, еще раз низко поклонившись.

– От кого это?

– Быть может, само послание ответит прекрасной госпоже – счастливой, мудрой, ученой госпоже, – заговорила Мириам льстиво. – Может ли бедная старая еврейка знать тайны важных господ!

– Важных господ?

Ипатия взглянула на печать, скреплявшую шелковый шнурок, которым было обвито послание. Печать и почерк принадлежали Оресту. Странно, что он избрал такого посланного! Какова же была весть, требовавшая столь глубокой тайны?

Ипатия ударила в ладоши, призывая рабыню.

– Пусть эта женщина подождет в приемной!

Мириам пошла, низко кланяясь и направляясь к двери. Но когда Ипатия подняла глаза, чтобы убедиться, одна ли она, она снова встретила упорно устремленный на нее взгляд и уловила в нем выражение, заставившее ее похолодеть и содрогнуться.

Оставшись, наконец, одна, она прошептала:

– О, как я безрассудна! Что мне за дело до этой колдуньи? Лучше взглянем на письмо.

«Благороднейшей, прекраснейшей представительнице философии, любимице Афины, шлет привет ее ученик и раб».

– Мой раб! Он не называет своего имени!

«Есть люди, которые полагают, что любимая курочка Гонория<sup>14</sup>, носящая имя столицы, будет жить лучше под властью нового хозяина. Наместник Африки, по собственному желанию

---

<sup>14</sup> Гонорий Флавий – сын Феодосия, первый император западноримской империи, вел борьбу с наступающими варварами. При полководце Стилихоне эта борьба была удачна, а после его умерщвления неспособный Гонорий начал терпеть поражения.

и по воле бессмертных богов, намеревается теперь присматривать за птичником цезарей, по крайней мере на время отсутствия Адольфа и Плацидии<sup>15</sup>. Некоторые же думают, что тем временем удастся убедить нумидийского льва взять себе в спутники нильского крокодила. Земли, которые войдут в состав владений этой четы, вероятно будут простираться от верхних водопадов до столбов Геркулеса и представят некоторую прелесть даже для философа. Но новая Аркадия останется несовершенной, пока земледelec будет лишен своей нимфы.

Чем был бы Дионис без Ариадны, Арес без Афродиты, Зевс без Геры? Даже Артемида имела своего Эндимиона. Одна лишь Афина осталась без супруга, и то лишь потому, что Гефест оказался слишком грубым претендентом. Но тот, кто дает представительнице Афины возможность разделить с ним нечто, достижимое при содействии ее мудрости и немыслимое без нее, не таков... Неужели Эрос, от века непобедимый, не сможет овладеть благороднейшей добычей, в которую когда-либо метили его стрелы?»

На щеки Ипатии, побледневшие под убивающим взором старой еврейки, возвращался румянец, по мере того как она пробежала это странное послание. Наконец она встала и, смяв письмо в руке, поспешила в смежный покой, где сидел Теон над своими книгами.

– Отец, известно ли тебе что-либо об этом? Посмотри, что Орест посмел мне прислать через эту противную еврейскую колдунью.

И она нетерпеливо развернула перед ним письмо, дрожа всем телом от гнева и оскорбленной гордости. Старик прочел письмо медленно и внимательно, а затем взглянул на дочь, очевидно не очень оскорбленный содержанием послания.

– Как, отец! – воскликнула Ипатия с упреком. – Неужели ты не понимаешь, какое оскорбление нанесено твоей дочери?

– Мое дорогое дитя, – возразил он в смущении, – разве ты не видишь, что он тебе предлагает?

– Я понимаю, отец. Владычество над Африкой... Он предлагает покинуть горные высоты науки, оторваться от созерцания вечно неизменного, неизъяснимого великолепия и спуститься в грязные равнины и долины земной практической жизни! Стать рабыней, погрязнуть в борьбе политических интриг и мелочного честолюбия, в грехах и обманах смертного человечества... А в награду он предлагает мне, целомудренной и неуязвимой, свою руку...

– Но, дочь моя, дитя мое, целое государство...

– Даже власть над всем миром не вознаградит меня за утрату самоуважения и законной гордости. Стать собственностью, игрушкой мужчины, предметом его похоти, рождать ему детей, терзаться отвратительными заботами жены и матери... Целые годы искал он моего общества для того, чтобы, подбирая крохи с праздничной трапезы богов, употреблять их для эгоистических, земных целей! Я была тщеславна, я слишком ему потакала! Нет, я несправедлива к себе. Я только думала и надеялась, что дело бессмертных богов возвеличится и окрепнет в глазах толпы, если Ореста будут видеть у нас... Я пыталась поддерживать небесный огонь земным топливом – и вот справедливая кара! Я ему немедленно напишу и пошлю письмо с тем самым посланцем, которого он ко мне направил!

– Во имя богов, дочь моя! Заклинаю тебя ради твоего отца, ради тебя самой! Ипатия! Моя гордость, моя радость, моя единственная надежда! Сжался над моими седидами!

Бедный старик бросился к ногам дочери и с мольбой обнял ее колени.

Ипатия нежно приподняла его, обняла и положила его голову себе на плечо. Слезы ее падали на серебристые кудри старика, но на губах выражалась непреклонная решимость.

---

<sup>15</sup> Плацидия – дочь императора Феодосия Великого, сестра императоров Аркадия и Гонория. В 409 г. была взята в плен Аларихом, королем готов, и вышла замуж за его родственника Адольфа.

– Подумай о моей гордости, о моей славе, которая заключается в твоей славе, вспомни обо мне – не ради меня! Ты знаешь, я никогда не думал о себе! – рыдал Теон. – Я готов умереть, но перед смертью желал бы видеть тебя императрицей!

– А если я умру во время родов, как умирает столько женщин?

– А... – начал старик, стараясь придумать довод, способный убедить прекрасную фанатичку. – А дело богов? Сколько бы ты могла совершить – вспомни Юлиана!<sup>16</sup>

Руки Ипатии внезапно опустились. Да, верно. Эта мысль поразила ее душу, наполняя ее восторгом и ужасом... Видения детства восстали перед ней. Храмы... жертвоприношения... священнослужители... коллегии и музеи! Чего только не удастся ей совершить! Что бы она сделала из Африки! Десять лет власти – и ненавистная религия христиан будет предана забвению, а исполинское изваяние Афины Паллады из слоновой кости и золота осенит в величавом торжестве гавани языческой Александрии... Но за какую цену! Она закрыла лицо руками и, разразившись слезами, дрожа от внутренней борьбы, медленно вернулась в свою комнату:

Старик робко последовал за ней. Он остановился на пороге и от глубины сердца молил всех богов, демонов и прочих духов, чтобы они изменили решение, которое рассудок его не мог одобрить, но которому по слабости своей он не смог бы воспротивиться.

Борьба окончилась, и красавица смотрела опять ясной, спокойной и гордой.

– Это должно совершиться ради бессмертных богов, в интересах искусства, науки и философии. Да будет! Если боги требуют жертвы, я готова ее принести.

И она села писать ответ.

– Я приняла предложение Ореста с некоторыми условиями, – сказала она, – но все зависит от того, хватит ли у него мужества исполнить их. Не спрашивай, каковы мои требования. Пока Кирилл еще остается вожаком христианской черни, тебе лучше всего отрицать всякое отношение к этому делу. Будь доволен: я ему сказала, что если он поступит так, как я желаю, я сделаю то, чего он от меня ждет.

– Не была ли ты слишком опрометчива, дочь моя? Не потребовала ли ты от него то, чего он не смеет сделать из боязни общественного мнения, хотя, быть может, разрешит выполнить самой, если...

– Если мне суждено стать жертвой, то жрец, приносящий меня в жертву, должен быть мужчиной, а не трусом, не лукавым льстецом! Если он действительно предан христианству, то пусть защищает его против меня, ибо должны погибнуть или христианство, или я. Если же он не верит во Христа, – а я знаю, что он не верит, – то пусть откажется от лицемерия и перестанет поносить бессмертных богов, ибо это противно его сердцу и разуму.

Она ударила в ладоши, молча передала письмо вошедшей служанке, закрыла дверь комнаты и попробовала снова приняться за комментарии к Платону. Но что значили все грезы метафизики в сравнении с действительной пыткой человеческого сердца? Где связь между чистым верховным разумом и отвратительными ласками развратного трусливого Ореста? Нет, Ипатия не хочет, она воспротивится. Подобно Прометею, она не покорится судьбе, а отважно вступит с ней в борьбу!

Красавица вскочила, чтобы потребовать письмо назад. Но Мириам уже ушла, и, в отчаянии бросившись на ложе, Ипатия залилась слезами.

Ее настроение, конечно, не стало бы радостнее, если бы она увидела, как старая Мириам торопливо вошла в грязный дом еврейского квартала, вскрыла письмо, прочла и потом снова запечатала его с такой удивительной ловкостью, что никто не мог бы заподозрить ее в нескромности. Столь же мало утешительно было бы для Ипатии и подслушать беседу, происходившую в летнем дворце Ореста между этим блестящим государственным мужем и Рафаэлем Эбн-

<sup>16</sup> Юлиан (331–363) – римский император; занимался восстановлением язычества в углубленной и облагороженной форме.

Эзра. Они возлежали на диванах друг против друга и забавлялись игрой в кости, чтобы убить время в ожидании ответа Ипатии.

– Опять у тебя три очка! Тебе помогает нечистая сила, Рафаэль!

– Я в этом уверен, – сказал тот, загребая золото.

– Когда же, наконец, вернется старая колдунья?

– Как только прочтет твое письмо и ответ Ипатии... А вот и Мириам, – я слышу ее шаги в приемной. Давай побьемся об заклад, прежде чем она войдет. Я держу два против одного, что Ипатия потребует от тебя возвращения к язычеству.

– А что поставим на заклад? Негритянских мальчиков?

– Что тебе угодно.

– Согласен. Сюда, рабы!

С недовольным видом вошел мальчик.

– Еврейка стоит там с письмом и нагло отказывается передать его мне.

– Так пусть она сама его принесет.

– Не знаю, к чему я в доме, если есть тайны, которые от меня скрывают, – ворчал избалованный мальчик.

– Не желаешь ли ты, чтобы я украсил синяками твои белые ребра, обезьяна? – заметил

Орест. – Если так, то там вон висит наготове бич из бегемотовой кожи. Но вот и Мириам с ответом! Поддай-ка письмо сюда, царица сводниц.

Орест начал читать, и его лицо омрачилось.

– Ну что ж, выиграл я?

– Вон из комнаты, рабы, и не смейте подслушивать!

– Так, значит, я действительно выиграл?

Орест подал приятелю письмо, и Рафаэль прочел:

«Бессмертные боги требуют нераздельного почитания, и тот, кто желает пользоваться внушениями их пророчиц, должен принять к сведению, что они ниспосллют своим слугам вдохновение свыше лишь тогда, когда будут восстановлены их утраченные права и погибший культ. Если тот, кто намеревается стать властителем Африки, осмелится втоптать в грязь ненавистный крест, то он должен возратить верховную власть олимпийцам, для прославления которых возникла империя и окрепла власть цезарей. Если он публично, словом и делом, выразит свое презрение к новому варварскому суеверию, то я сочту высшей для себя славой разделить с подобным человеком труды, опасности, даже смерть. А до тех пор...»

На этом месте письмо прерывалось.

– Что мне делать?

– Согласиться.

– Великий Боже! Тогда меня отлучат от церкви. Что станет с моей бедной душой?

– То, что ее ожидает во всяком случае, мой повелитель! – ласково возразил Рафаэль.

– Но меня назовут отступником. И это – перед лицом Кирилла и всего народа. Говорю тебе, – я не могу на это отважиться.

– Никто от тебя не требует отступничества, благородный префект.

– Как? А что же ты сам только что говорил?

– Я посоветовал только соглашаться на все. Перед браком дают немало обещаний, которым никогда не суждено осуществиться.

– Я не смею, я не хочу обещать. Я подозреваю, что тут какая-то западня, расставленная вами, еврейскими интриганами. Вам нужно, чтобы я опозорил себя перед христианами, которых вы ненавидите.

– Уверяю тебя, я слишком глубоко презираю людей, чтобы ненавидеть их. Но тебе, право, следует принести небольшую жертву, чтобы овладеть этой своенравной девушкой. При помощи ее глубокого и смелого духа ты мог бы справиться и с римлянами, и с византийцами,

и с готами, если бы она пожелала использовать их для твоих целей. А что касается красоты, то одна ямочка у кисти ее маленькой, прелестной ручки стоит всех красавиц Александрии.

– Клянусь Юпитером! Ты так ею восторгаешься, что я начинаю подозревать, не влюблен ли ты сам в нее. Почему бы тебе не жениться на ней? Я бы возвел тебя в сан первого министра, и мы могли бы пользоваться ее мудростью, не страдая от ее капризов.

Рафаэль встал и поклонился до земли.

– Милость высокородного префекта подавляет меня, но до сих пор я заботился только о собственном благе, и трудно думать, что в настоящем возрасте я посвящу себя чужим интересам, хотя бы и твоим.

– Ты откровенен.

– Без сомнения... Кроме того, как с практической, так и с теоретической точки зрения, женщина, на которой я когда-либо женюсь, будет моей частной собственностью... Ты меня понимаешь?

– Весьма откровенно с твоей стороны!

– Конечно, но мы упустили из виду третий пункт, а именно, что она, вероятно, не согласится выйти за меня замуж.

– Клянусь Юпитером, она меня отвергла всерьез! Она раскается в этом. Глупо было делать ей предложение. К чему телохранители, если не можешь взять силой то, чего добиваешься? Если кроткие меры недействительны, – помогут строгие. Я немедленно велю доставить ее сюда.

– Благородный повелитель, это ни к чему не приведет. Разве тебе незнакома непреклонная твердость этой женщины? Ни бичевание, ни истязание раскаленными клещами не поколеблют ее решимости при жизни. Мертвая же она совершенно бесполезна для тебя, но не бесполезна для Кирилла...

– В каком смысле?

– Он с радостью ухватится за эту историю, как оружие против тебя. Он заявит, что она умерла целомудренной мученицей во славу вселенской апостольской веры, подстроит чудеса над ее прахом и, опираясь на эти знамения, сровняет с землей твой дворец.

– Так или иначе, Кирилл услышит обо всем, – и это второе затруднение, в которое ты, пронырливый интриган, вовлек меня. Ипатия оповестит всю Александрию, что я искал ее руки, а она отказала мне.

– Положись на меня. Как бы ни грезила наша красавица о заоблачных сферах, престол сам по себе настолько заманчивая вещь, что даже пифия Ипатия не откажется от него. На прощание побьемся еще раз об заклад: держу три против одного. Не предпринимай ничего ни в том, ни в другом направлении, и не пройдет месяца, как она сама пришлет тебе письмо. Поставим кавказских мулов? Хочешь? Решено!

И Рафаэль, низко поклонившись, покинул комнату. Выходя из дворца, он заметил на другой стороне улицы еврейку Мириам, которая очевидно поджидала его. Но, увидев его, она спокойно пошла дальше, как бы вовсе не желая с ним говорить. Завернув за угол, Рафаэль остановил ее, и она порывисто схватила его за руку.

– Дурак решился?

– Кто решился и на что?

– Ты знаешь, о чем я говорю! Неужели ты думаешь, что Мириам способна передавать письма, не ознакомившись с их содержанием? Отречется ли он от христианства? Скажи мне. Я буду нема, как могила!

– Дуралей нашел в каком-то закоулке своего сердца старый изъеденный крысами клочок совести – и не решается!

– Проклятый трус! У меня сложился такой великолепный план заговора! В течение года я бы вышвырнула всех христианских собак из Африки. Чего опасается этот человек?

– Адского огня.

– Он и без того не избегнет его, поганный язычник!

– Я ему на это намекнул, по возможности деликатно и осторожно, но, подобно осталь-  
ному человечеству, он предпочитает отправиться в преисподнюю собственной дорогой.

– Трус! Кого мне взять теперь? О, если бы во всем теле Пелагии было столько ума, сколько  
в мизинце Ипатии, то я бы посадила ее на трон цезарей вместе с ее готом.

– Она, без сомнения, самая знаменитая из твоих питомиц. Ты, мать, вправе гордиться ею.

Старуха слегка усмехнулась и быстро повернулась к Рафаэлю:

– Посмотри, у меня есть подарок для тебя, – сказала она, вытаскивая роскошное кольцо.

– Но, мать, ты даришь меня постоянно. Всего месяц тому назад ты прислала мне этот  
отравленный кинжал.

– Почему бы и нет? Возьми кольцо от старухи.

– Какой чудесный опал!

– Да, это настоящий опал. На нем начертано непроезжимое имя Божие, – точь-в-точь  
как на кольце Соломона. Возьми его, говорю тебе. Тому, кто его носит, нечего бояться огня  
и стали, яда и женских очей.

– Включая даже твои?

– Возьми, говорю тебе! – Мириам силой надела кольцо на его палец. – Вот оно тут. Теперь  
ты в безопасности. Не смейся! Прошлой ночью я составляла твой гороскоп и знаю, что тебе сей-  
час не до смеха. Тебе угрожает великая опасность и великое искушение. Когда же ты победишь  
это испытание, ты можешь сделаться ближайшим советником цезаря, первым министром, даже  
императором. И ты будешь им, клянусь четырьмя архангелами!

И старуха скрылась в боковом переулке, оставив Рафаэля в полнейшем недоумении.

## Глава V

### День в Александрии

Пока все это происходило, Филимон плыл вниз по течению реки с приютившими его готами. Перед ними мелькали древние города, превратившиеся в развалины. Наконец они вошли в устье большого александрийского канала и, проплыв всю ночь по озеру Мареотис, к рассвету очутились среди несчетных мачт, возле шумных набережных величайшей гавани мира. Пестрая толпа чужеземцев, гул наречий всех народов, от Тавриды до Кадиса, высоко громоздившиеся склады товаров, огромные груды пшеницы, сваленной под открытым небом, не знавшим дождя, суда, могучие корпуса которых вздымались ярусами и походили на плавающие дворцы, вся эта оживленная картина навела молодого монаха на мысль, что мир не так ничтожен, как он думал.

Перед большими грудями плодов, только что подвезенных базарными лодками, грелись на солнце группы негритянских рабов, которые, болтая и смеясь, с тревогой и нетерпением высматривали покупателей. Филимон отвернулся, не желая смотреть на мирскую суету, но всюду, куда ни обращались его глаза, он видел ее в самых разнообразных формах. Он изнемогал под массой новых впечатлений, его оглушал шум, и он едва овладел собой настолько, чтобы воспользоваться первой возможностью и постараться ускользнуть от своих опасных спутников.

– Эй, – заревел Смид, оружейный мастер, когда Филимон начал подниматься по лестнице пристани. – Ты никак задумал сбежать, даже не попрощавшись с нами?

– Оставайся со мной, парень, – сказал старый Вульф. – Я тебе спас жизнь, и ты принадлежишь мне.

Филимон с некоторым колебанием повернулся к нему.

– Я монах и слуга Божий.

– Им ты можешь остаться везде. Я хочу сделать из тебя воина.

– Оружие мое – не плотские вещи, а молитва и пост, – возразил бедный Филимон, чувствуя, что это средство самообороны в Александрии нужнее, чем где-либо в пустыне. – Пустите меня, я не создан для вашей жизни. Я благодарю и благословляю вас. Я буду молиться за тебя, мой повелитель, но отпусти меня.

– Проклятие трусливому псу! – завопило с полдюжины голосов. – Почему ты не дал нам воли, викинг Вульф? От монаха иного нечего было и ждать.

– Он не дал мне позабавиться, – воскликнул Смид, – но я своего не упущу!

Топор, брошенный искусной рукой, полетел в голову Филимона. Монах едва успел уклониться от удара, и тяжелое орудие разбилось о гранитную стену позади него.

– Ловко увернулся, – холодно заметил Вульф.

Матросы и торговки закричали: «убивают!», а таможенные чиновники, надзиратели и сторожа гавани сбежались со всех сторон. Но все они спокойно разошлись по местам, когда раздался громовой голос амалийца, стоявшего у руля:

– Ничего не случилось, ребята! Мы только готы и едем к наместнику.

– Мы только готы, мои милые ослиные погонщики! – повторил Смид.

При этом грозном слове чиновники поспешили удалиться, стараясь сохранить равнодушные и всем своим видом показывая, что их присутствие необходимо как раз на противоположном конце гавани.

– Отпустите его, – сказал Вульф, поднимаясь по лестнице. – Отпустите мальчика. Всякий человек, к которому я чувствовал расположение, впоследствии меня обманывал, и от этого малого я не вправе ожидать чего-либо иного, – пробормотал он про себя. – Пойдемте, товарищи, ступайте на берег и напейтесь как следует.

Так как Филимону было разрешено удалиться, то он, конечно, пожелал остаться. Во всяком случае ему следовало вернуться, чтобы поблагодарить варваров за оказанное гостеприимство. Обернувшись, он увидел, что Пелагия садилась на носилки вместе со своим возлюбленным. С опущенными глазами приблизился он к прекрасному созданию и пролепетал несколько слов признательности. Пелагия приветствовала его ласковой улыбкой.

– Перед разлукой Расскажи мне побольше о себе. Ты говоришь на прекрасном чистейшем афинском наречии. Ах, что за счастье опять слышать свой родной язык! Бывал ли ты в Афинах?

– Малым ребенком, – я помню, то есть мне кажется, что помню...

– Что? – быстро спросила Пелагия.

– Большой дом в Афинах, битву и потом долгое путешествие на корабле, доставившем меня в Египет.

– Милосердные боги! – воскликнула Пелагия и умолкла на мгновение. – Девушки, вы говорили, что он на меня похож?

– Мы ничего дурного не имели в виду, когда в шутку заметили это, – сказала одна из ее спутниц.

– Ты похож на меня! Ты должен навестить нас, мне нужно тебе сказать... Приходи непременно!

Филимон, ложно истолковав ее интерес к нему, правда, не отпрянул, но ясно проявил нерешительность.

Пелагия громко рассмеялась.

– Глупый юноша, не будь таким тщеславным, не питай подозрений и приходи. Не думаешь же ты, что я всегда болтаю только глупости? Посети меня, быть может, это окажется полезным для тебя. Я живу в...

Она назвала одну из самых роскошных улиц, которую Филимон не мог не запомнить, хотя в душе дал обет никогда не воспользоваться ее приглашением.

– Брось этого дикаря и иди! – ворчал амалиец, сидя в носилках. – Ты, надеюсь, не собираешься идти в монахини?

– Нет, пока еще жив единственный мужчина, которого я встретила на земле, – возразила Пелагия и, быстро взбираясь на носилки, обнаружила прелестную пятку и очаровательную щиколотку.

Это была как бы последняя стрела, пущенная наудачу. Но в Филимона стрела не попала. Толпа смеющихся пешеходов увлекла его вперед. Довольный, что избегнул опасной беседы, молодой монах осведомился, где живет патриарх.

– Дом патриарха? – переспросил человек, к которому он обратился, маленький, худощавый, черноватый малый, с веселыми, темными глазами. Поставив перед собой корзину с плодами, он сидел на деревянном обрубе и разглядывал иноземцев с выражением пронырливого, простоватого лукавства. – Я знаю его дом, ибо дом этот знает вся Александрия. Ты монах?

– Да.

– Так спроси монахов. Ты и шага не пройдешь, как встретишь кого-нибудь из них.

– Но я не знаю даже в какую сторону идти. А ты разве не любишь монахов, добрый человек?

– Видишь, юноша, мне кажется, ты слишком хорош для монаха. Я грек и философ, хотя, к несчастью, водоворот материи вовлек искру божественного эфира в тело носильщика. Поэтому, юноша, я питаю троякую вражду к монашеству. Во-первых, как мужчина и супруг. Ведь если бы монахам дать волю, они не оставили бы на земле ни мужчин, ни женщин и сразу погубили бы людской род проповедью добровольного самоубийства. Во-вторых, как носильщик, если бы все мужчины стали монахами, то не было бы бездельников и моя должность упразднилась бы сама собой. В-третьих, как философ. Как фальшивая монета внушает отвра-

щение честным людям, так и нелепый, дикий аскетизм отшельника претит логическому, последовательному мышлению человека, который, подобно мне, смиреннейшему из философов, хочет устроить свою жизнь на разумных началах.

– А кто, – спросил Филимон, не удержавшись от улыбки, – кто был твоим наставником по части философии?

– Источник классической мудрости – сама Ипатия. Некий древний мудрец ночью качал воду, чтобы иметь возможность учиться днем, а я храню плащи и зонты, чтобы упиваться божественным знанием у священных врат ее аудитории. Но все-таки я укажу тебе дорогу к архиепископу. Философу приятно поверять скромной юности сокровища своего ума. Быть может, ты поможешь мне отнести эту корзину с фруктами?

Маленький человечек привстал и, поставив корзину на голову Филимона, направился в одну из ближайших улиц. Филимон последовал за ним, не то с презрением, не то с любопытством спрашивая себя, какова же та философия, которая поддерживала сомнение этого жалкого, оборванного, маленького обезьяноподобного существа. Миновав ворота Луны, они шли около мили по большой, широкой улице, которая пересекалась под прямым углом другой, столь же прекрасной. Вдали на обоих концах ее неясно обозначались желтые песчаные холмы пустыни, а прямо перед путниками сверкала голубая гавань сквозь сеть бесчисленных мачт.

Наконец они достигли набережной, в которую упиралась улица, и перед изумленными взорами Филимона широким полукругом развернулось синее море, окаймленное дворцами и башнями. Он невольно остановился, а вместе с ним и его маленький спутник, с любопытством следивший за впечатлением, которое произвела на монаха эта грандиозная панорама.

– Вот, смотри, это все творения наших рук! Это сделали мы, греки, темные язычники. Разве христиане там, на левой излучине, построили этот маяк, чудо мира? Разве христиане возвели этот каменный мол, который тянется на расстоянии многих миль? А кто создал эту площадь и выстроил вот эти ворота Солнца? Или Цезареум по правую руку? Обрати внимание на два обелиска перед ним!

И он указал на два знаменитых обелиска, один из которых, известный под именем иглы Клеопатры, уцелел до наших дней.

– Говорю тебе, смотри и убедись, как ничтожен, как страшно ничтожен ты на самом деле! Отвечай, потомок летучих мышей и кротов, ты, шестипудовая земляная глыба, ты, мумия скалистых пещер, могут ли монахи произвести нечто подобное?

– Мы продолжаем работу наших предшественников, – возразил Филимон, пытаюсь сохранить безучастный и бесстрастный вид.

Он был слишком изумлен, чтобы сердиться на выходки своего спутника. Его подавлял необъятный простор, блеск и величие зрелища, ряд великолепных зданий, каких, быть может, никогда, ни раньше, ни позже, земля не носила на своей поверхности. Среди необычайного разнообразия форм можно было видеть и чистые дорические постройки первых Птолемеев, и причудливую варварскую роскошь позднейших римских зданий, и подражания величественному стилю Древнего Египта, пестрый колорит которого смягчал простоту и массивность очертаний. Ненарушимый покой этого громадного каменного пояса составлял разительный контраст с неумной суетой гавани. Высокие паруса кораблей, продвинувшись далеко в море, походили на белых голубей, исчезающих в беспредельной лазури. Это зрелище смущало, угнетало и наполняло неопределенным тоскливым чувством сердце молодого монаха. Наконец, опомнившись, Филимон вспомнил о данном поручении и вторично спросил о дороге к дому архиепископа.

– Вот дорога, молокосос, – сказал маленький человечек, оглябая с Филимоном большой фронтон Цезареума.

Взор молодого монаха случайно упал на новую лепную работу над воротами, украшенными христианскими символами.

– Как? Это церковь?

– Это Цезареум. Временно он стал церковью. Бессмертные боги на короткий срок соблаговолили поступиться своими правами, но тем не менее здание остается по-прежнему Цезареумом. Вот, – сказал, он, указывая на дверь с боковой стороны музея, – здесь последнее убежище муз – аудитория Ипатии, школа, где мы все поучаемся. А тут, – он остановился перед воротами прекрасного дома, находившегося напротив, – местожительство благословенной любви Афины. Теперь ты можешь опустить корзину.

Проводник постучал у двери, сдал плоды чернокожему привратнику, вежливо поклонился Филимону и, по-видимому, намеревался удалиться.

– А где же дом архиепископа?

– У самого Серапеума. Ты не ошибешься. Четыреста мраморных колонн, разрушенных христианскими гонителями, стоят на возвышении...

– Далеко ли это отсюда?

– Около трех миль, у ворот Луны.

– Как? Значит это те самые ворота, через которые мы вошли в город?

– Те самые, ты не заблудишься, потому что уже раз прошел со мной весь этот путь.

Филимону захотелось схватить за горло бессовестного болтуна и разбить его голову об стену. Хотя он и подавил это желание, но не мог удержаться, чтобы не сказать:

– Итак, негодяй, язычник, ты заставил меня попусту прогуляться шесть или семь миль?

– Точно так, молодой человек. Если ты вздумаешь меня обидеть, то я позову на помощь: рядом – еврейский квартал, и оттуда, словно осы из гнезда, немедленно высыплют тысячи людей, чтобы убить монаха при столь удобном случае. Но я действовал с самыми благими намерениями: во-первых, по указаниям практической мудрости, – чтобы корзину пришлось нести не мне, а тебе; во-вторых, из высших философских соображений, – чтобы, пораженный величием нашей славной цивилизации, которую хотят уничтожить твои братья, ты понял, какой ты осел, черепаха, бесформенное ничто! Если же ты познал свое ничтожество, то постарайся стать хоть чем-нибудь.

С этими словами он хотел скрыться, но Филимон схватил его за ворот изодранной туники и держал болтуна так крепко, что тому не удалось ускользнуть, хотя он и извивался как угорь.

– Ты пойдешь со мной и будешь указывать мне дорогу. Если ты согласен, все обойдется миролюбиво, в противном же случае я силой заставлю тебя повиноваться. Это справедливая кара за твой поступок.

– Философ преодолевает препятствия, подчиняясь им. Я сторонник миролюбия и всех его благ.

Итак, они вместе отправились обратно. Пройдя около полумили рядом с носильщиком, Филимон внезапно спросил его:

– А кто эта Ипатия, о которой ты столько рассказываешь?

– Кто Ипатия? О, что за невежество! Она царица Александрии. По уму Афина, по величавости Гера, по красоте – Афродита.

– А кто они?

Носильщик остановился, медленно смерил его с ног до головы презрительным взглядом и с выражением безграничной жалости хотел было уйти. Но сильная рука Филимона удержала его.

– Ах... понимаю... Кто Афина? Богиня, дарующая мудрость, Гера – супруга Зевса, царица небожителей. Афродита – мать любви... Впрочем, я не надеюсь, что ты постигнешь мои слова.

Филимон, однако, понял, что Ипатия в глазах его маленького проводника была весьма выдающейся и удивительной личностью, и предложил новый вопрос, чтобы таким образом несколько уяснить себе это чудо Александрии.

– Она дружит с патриархом?

Носильщик вытаращил глаза, просунул средний палец одной руки между указательным и третьим пальцем другой и, шутливо глядя на юношу, проделывал какие-то таинственные знаки, смысл которых, впрочем, был совершенно потерян для Филимона. Маленький человек остановился, еще раз посмотрел на статную фигуру Филимона и, наконец, произнес:

– Она – друг всего человечества, мой юный друг. Философ должен возноситься над отдельными личностями, дабы созерцать целое. А вот здесь есть на что посмотреть, и ворота открыты.

И он подошел к фасаду большого здания.

– Это дом патриарха?

– У патриарха более плебейский вкус. Он живет, как люди рассказывают, в двух грязных, маленьких каморках, ибо знает, что ему неприлично роскошествовать. Дом патриарха? Нет, это храм искусств и красоты, дельфийский треножник поэтического вдохновения, утешение рабов, изнемогающих под земным гнетом, одним словом, театр, который твой патриарх, имей он возможность, завтра же превратил бы... Но философ не должен браниться. Ах, я вижу телохранителей наместника у ворот. Значит, он сейчас издает распоряжения. Войдем и послушаем.

Прежде чем Филимон успел отказаться, внутри здания поднялась страшная суматоха, а затем заволновался народ, стоявший на улице.

– Это неправда! – раздавались голоса. – Еврейская клевета! Этот человек невинен!

– Он так же мало думает о бунте, как и я, – ревел жирный мясник, который, по-видимому, с одинаковой легкостью мог сразить и человека и быка. – При проповедях святого патриарха он первым начинал хлопать и последним кончал.

– Добрая, кроткая душа! – причитала женщина. – Еще сегодня утром говорила я ему: почему ты не бьешь моих мальчишек, господин Гиеракс? Станут ли они учиться, если не бить их? А он ответил, что не терпит розог – от одного вида их у него пробегают мурашки по спине.

– Очевидно, это было пророчество!

– Это-то и доказывает его невинность. Как мог бы он прорицать, не будучи святым?

– Монахи, на помощь! Гиеракс, христианин, схвачен и подвергнут пытке в театре! – закричал какой-то пустынный. Волосы и борода ниспадали ему на грудь и плечи.

– Нитрия! Нитрия! За Бога и Богоматерь, монахи Нитрии! Долой еврейских клеветников! Долой языческих тиранов!

И толпа бросилась вниз по сводчатому проходу, увлекая за собой носильщика и Филимона.

– Друзья мои, – начал маленький человек, пытаясь сохранить спокойствие философа, хотя не мог более стоять на ногах и, стиснутый локтями двух зрителей, висел в воздухе, – что означает этот шум?

– Евреи распустили слух, что Гиеракс готовит восстание. Да будут они прокляты со своей субботой!

– Поэтому они затевают волнения по воскресеньям. Гм... это борьба партий, которую философ...

Говоривший замолчал; толпа раздалась, он упал наземь, и бесчисленные ноги бегущих сейчас же покрыли его.

Услышав о преследованиях и доведенный до неистовства криками, Филимон смело бросился сквозь толпу, пока не достиг больших ворот с железными решетками, преграждавшими дальнейший путь. Отсюда молодой монах мог беспрепятственно следить за трагедией, разыгравшейся внутри здания, где невинный страдалец, подвешенный на дыбе, извивался и громко вскрикивал при каждом взмахе ременного кнута.

Филимон тщетно стучал и колотил в ворота вместе с обступившими его монахами. Им отвечал лишь хохот телохранителей, находившихся внутри двора. Телохранители громко проклинали мятежное население Александрии с его патриархом, духовенством, святыми и церк-

вами и грозили, что доберутся до каждого из тех, кто тут стоит. Между тем отчаянные вопли пытаемого постепенно ослабевали и, наконец, вслед за последним судорожным криком жизнь и страдание навеки прекратились в этом жалком истерзанном теле.

– Они его убили! Они сделали его мучеником! Назад, к архиепископу! К дому патриарха! Он отомстит за нас!

Страшная весть дошла до народа, теснившегося перед фасадом на площади, и вся толпа, как один человек, повалила по улицам к жилищу Кирилла. Филимон следовал за ней, вне себя от ужаса, ярости и жалости.

Среди тревоги и суматохи он провел часа два перед домом патриарха, прежде чем был допущен к нему. Вместе с плотно сжавшей его толпой он попал в низкий, темный проход и, наконец, едва переводя дыхание, очутился во внутреннем дворе четырехугольного невзрачного здания, над которым поднимались четыреста колонн разрушенного Серапеума. Разбитые капители и арки величавого здания уже зарастали травой.

Наконец Филимону удалось выбраться из тесноты и вручить хранившееся на груди письмо священнику, бывшему среди толпы. Миновав коридор и несколько лестниц, Филимон вошел в большую, низкую, простую комнату. Благодаря духу всемирного братства, который христианство впервые установило на земле, ему пришлось ждать не более пяти минут. Его допустили к человеку самому могущественному на южном побережье Средиземного моря.

Тяжелый занавес скрывал дверь в смежную комнату, но до Филимона явственно долетали шаги человека, быстро и гневно ходившего взад и вперед.

– Они доведут меня до этого! – воскликнул, наконец, громкий благозвучный голос. – Они меня доведут до этого. Да падет их кровь на их собственные головы! Мало им поносить Бога и церковь, повсюду раскидывать сети всяческих обманов, колдовства и ростовщичества, угадывать будущее, делать фальшивые деньги, – нет, они смеют еще предавать мое духовенство в руки тирана!

– Так было и во времена апостолов, – вставил более мягкий, но гораздо менее приятный голос.

– Ну а больше так не будет! Бог даровал мне власть, чтобы обуздать их, и да покарает он меня так же, или еще суровее, если я не воспользуюсь своей силой. Завтра я очищу эти Авгиевы конюшни, полные гнусностей, и в Александрии не останется ни одного еврея, и некому будет кощунствовать и обманывать людей.

– Боюсь, как бы такой самосуд, сколь бы он ни был справедлив, не оскорбил высокородного префекта!

– Высокородного префекта, – скажи лучше тирана! Почему Орест пресмыкается перед евреями? Только из-за денег, которыми они его ссужают. Он с удовольствием приютил бы в Александрии тысячи чертей, если бы они ему оказывали подобные же услуги. Он натравливает их на мою паству, унижает достоинство религии, а возбужденный им народ схватывается врукопашную и доходит до насилий вроде сегодняшнего! Говорят, это мятеж! Да разве народ не вызывают на мятеж? Чем скорее я устраню один из поводов для мятежа, тем лучше. Пусть поостережется и сам искуситель: его час тоже близок.

– Ты разумеешь префекта?

– Деспот, убийца, угнетатель бедняков, покровитель философии, презирающей и порабощающей неимущих... Не заслуживает ли такой человек гибели, будь он трижды префектом?

Филимон понял, что он, быть может, уже слишком много слышал, и легким шорохом дал знать о своем присутствии. Секретарь быстро откинул занавес и несколько резко спросил, что ему надо. Имена Памвы и Арсения, по-видимому, смягчили его, и трепещущий юноша был представлен тому, кто если не номинально, то фактически занимал престол фараонов.

Обстановка комнаты была очень скромна и мало отличалась от жилища ремесленника. Грубая одежда великого человека поражала простотой, и забота о внешности сказывалась лишь

в тщательно расчесанной бороде и локонах, уцелевших от тонзуры. Высокий рост и величественная осанка, строгие, красивые и массивные черты лица, сверкающие глаза, крупные губы и выдающийся вперед лоб – все обличало в нем человека, рожденного для власти. Когда юноша вошел, Кирилл остановился и обратил на него взгляд, зажегший целый пожар на щеках Филимона. Затем архиепископ взял письма, пробежал их и сказал:

– Филимон. Грек. Пишут, что ты научился повиновению. Если так, то сумеешь и поведовать. Настоятель, твой отец, поручает тебя моим попечениям. Теперь ты мне должен повиноваться.

– Я готов.

– Хорошо сказано. Ну, ступай к окну и прыгни во двор.

Филимон подошел к окну и открыл его. До мощеного двора было не менее двадцати футов, но Филимон обязан был слушаться, а не измерять высоту. На подоконнике стояли в вазе цветы; он совершенно спокойно отодвинул их и в следующее мгновение соскочил бы, если бы Кирилл не крикнул ему громовым голосом: «Стой!»

– Юноша нам подходит, Петр! Я теперь не боюсь, что он выдаст тайны, которые, быть может, слышал.

Петр одобрительно улынулся, хотя в выражении его лица как будто сквозило сожаление, что молодой человек не сломал себе шею и не лишил себя навеки возможности выдать их секрет.

– Ты хочешь видеть мир? Сегодня ты уже, наверное, немножко поглядел на него.

– Я видел убийство...

– Так, значит, ты видел то, что хотел видеть, – таков свет и таковы справедливость и милосердие, которые присущи ему. Ты, вероятно, не прочь посмотреть, как карает Господь людскую злобу. По твоим глазам я вижу, что и сам ты охотно станешь орудием Божиим в этом деле.

– Я бы хотел отомстить за этого человека.

– Да, да, он погиб, бедный простак-учитель! Его судьба кажется тебе верхом земных ужасов. Подожди немного и, проникнув вместе с пророком Иезекиилем в сокровенные тайники сатанинского капища, ты узришь там худшее: женщин, оплакивающих Таммуза, сетующих об упадке идолопоклонства, в которое сами более не верят... Да, Петр, в этой области нам тоже придется свершить один из Геркулесовых подвигов.

В эту минуту вошел диакон.

– Раввины проклятого народа ожидают внизу, по приказанию твоего святейшества. Мы провели их через задние ворота, боясь как бы...

– Верно, верно! Если бы с ними что-нибудь случилось, это могло бы погубить нас. Проведите их наверх. Возьми юношу с собой, Петр, и представь его параболанам. Кому лучше всего отдать его под начало?

– Брату Теопомпию. Он очень кроток и умерен.

Кирилл со смехом покачал головой.

– Пройди в соседнюю комнату, сын мой... Нет, Петр, отдай его под начальство какого-нибудь пламенного и святого человека, настоящего сына громов, который его заставит трудиться до изнеможения и покажет ему все, что нужно, с лучшей и с худшей стороны. Клейтофон для этого более всего пригоден. Теперь посмотрим, что мне надо сделать. Мне надо пять минут для этих евреев. Оресту не угодно было запугать их, – посмотрим, не удастся ли это Кириллу. Потом час для просмотра больничных счетов, час для школ, полчаса для разбора просьб о неотложной помощи, полчаса для меня лично, а потом богослужение... Последни, чтобы юноша присутствовал на нем. Теперь выпускай каждого по очереди. Где евреи?

Филимон отправился с параболанами и с отрядом приходских надзирателей. Вместе с ними он увидел темную сторону того мира, светлой частью которого были панорама гавани

и города. Вблизи порта, величайшего в мире по вывозу продовольственных продуктов, среди грязи, нищеты, разврата, невежества и дикости умирали с голоду скученные массы старого греческого населения. Гражданская администрация не заботилась об их телесных нуждах, и обездоленные бедняки порой заявляли о себе лишь отчаянными кровавыми мятежами. Тут-то, среди них и для них, работали денно и нощно приходские надзиратели.

Филимон пошел с ними; он оделял пищей и одеждой нуждавшихся, отправлял больных в госпитали, хоронил усопших, очищал со своими спутниками зараженные дома, – лихорадка никогда не прекращалась в этих жилищах, – и утешал умирающих. Филимон видел в этом труде только исполнение монашеского долга. Вернувшись, он бросился на складную кровать, стоявшую в одной из четырех келий, и через мгновение крепко заснул.

Среди ночи юноша проснулся от торопливых шагов и громких криков, раздававшихся на улице; понемногу придя в себя, он, наконец, явственно расслышал призыв:

– Александровская церковь горит! На помощь, добрые христиане! Пожар! Спасайте!

Филимон приподнялся на кровати и, вспомнив события минувшего дня, оделся. Потом он быстро бросился из кельи, чтобы узнать в чем дело от диаконов и монахов, тревожно пробежавших по длинному коридору.

– Да, Александровская церковь горит! – отвечали ему они, устремляясь вниз по лестницам и дальше через двор на улицу, где высокая фигура Петра служила как бы сборным пунктом.

Филимон подождал с минуту, а потом поспешил к своим товарищам. Это промедление спасло ему жизнь. Не прошло и нескольких секунд, как из тьмы выскочила какая-то мрачная фигура, длинный нож блеснул перед его глазами, и находившийся рядом священник со стоном упал на землю. Убийца бросился бежать вниз по улице, преследуемый монахами и параболанами.

Филимон в быстроте бега мог поспорить со страусом, поэтому опередил всех, кроме Петра. От ворот отделилось еще несколько неясных фигур, присоединившихся к преследователям. Пробежав с сотню шагов, люди эти остановились у бокового переулочка, и вместе с ними остановился и убийца. Петр, заподозривший ловушку, замедлил бег и схватил Филимона за руку.

– Видишь ли ты вон тех негодяев, что стоят в тени?

Не успел Филимон ответить, как тридцать или сорок человек с кинжалами, сверкавшими в лучах месяца, преградили улицу и окружили бегущих со всех сторон. Что это значило?

Петр немедленно повернул обратно и побежал с быстротой столь же стремительной, как его погоня. Филимон следовал за ним. Едва переводя дыхание, подбежали они к своим.

– В конце улицы стоит вооруженная толпа!

– Убийцы! Евреи! Заговор! – слышались крики.

Показался неприятель, осторожно подвигавшийся вперед. Под предводительством Петра духовенство отступило.

Угрюмый и раздраженный, Филимон присоединился к толпе, но едва успел он отойти шагов двенадцать, как услышал чей-то жалобный голос:

– О, помогите! Пощадите! Не оставляйте меня тут – они меня убьют. Я христианка, клянусь, я христианка!

Филимон нагнулся и поднял с земли хорошенькую негритянку, едва прикрытую лохмотьями и горько плакавшую.

– Я выбежала, когда услышала, что церковь горит, – рыдала несчастная, – а евреи избили и ранили меня. Они сорвали с меня шаль и тунику, прежде чем мне удалось вырваться от них, а потом меня опрокинули наши, и когда я упала, меня затоптали ногами. Мой муж будет бить меня, когда я вернусь домой. Бежим в этот переулок, или они убьют нас!

Вооруженные люди следовали по пятам. Времени терять было нельзя, и Филимон, уверив бедную женщину, что не покинет ее, скрылся вместе с ней в переулок, который она указала. Но преследователи заметили их. От главного ядра их, оставшегося на большой улице, отделились три или четыре человека и бросились в погоню за ними. Бедная негритянка продолжала бежать. Филимон оглянулся и при свете месяца увидел сверкающие ножи. Он был безоружен и приготовился умереть с мужеством, достойным монаха. Но юность не так-то легко расстается с последней надеждой. Он толкнул негритянку под темный свод ворот, где ей нетрудно было скрыться благодаря своему цвету кожи, а сам спрятался за столб как раз в ту минуту, когда его стал настигать первый преследователь.

В боязливом ожидании затаил он дыхание. Увидят ли его? Хитрость удалась. Преследователь пробежал мимо. Тут же появился другой, но, неожиданно увидев Филимона, испугался и отскочил в сторону. Это спасло Филимона. С быстротой кошки кинулся он на врага, сшиб его одним ударом, вырвал у него кинжал и, вскочив, вонзил в лицо третьему врагу только что отбитое оружие. Раненый зажал рукой окровавленную щеку, и, отступая, столкнулся со своим товарищем. Филимон, упоенный торжеством победы, воспользовался их замешательством и начал наделять достойную парочку ударами кинжала, которые, к счастью, наносились неумелой рукой, а то молодому монаху пришлось бы отвечать за две жизни. Негодяи скрылись, изрыгая проклятия на каком-то странном языке, и победитель Филимон остался наедине с дрожащей негритянкой. Возле них лежал один из раненых; ошеломленный ударом и падением, он стонал, лежа на мостовой.

Все это произошло в течение какой-нибудь секунды. Негритянка упала на колени и благодарила небо за неожиданное избавление. Филимон спокойно снял с еврея пояс и шаль и предложил их негритянке, ибо считал эти трофеи собственностью победителя. Вскоре на улице появилась новая толпа, приблизившаяся к ним прежде, чем они ее заметили. Вырвавшийся у них крик ужаса и отчаяния сменился радостным возгласом, когда Филимон различил священнические облачения. Во главе толпы шел Петр-чтец. Желая уклониться от неприятных вопросов, он стал быстро сыпать словами.

– Ах, юноша! Ты невредим! Благодарение святым угодникам! Мы считали тебя уже мертвым. Что у тебя тут? Пленник? У нас тоже. Он налетел прямо на нас, и Господь предал его в наши руки. Он, должно быть, пробежал мимо тебя.

– Да, – ответил Филимон, приподнимая своего пленника. – Вот и его подлый товарищ.

Обоих злодеев торопливо связали, и отряд направился дальше к Александровской церкви, месту предполагаемого пожара.

Толпа, состоявшая из монахов и народа, бежала дальше и дальше. Пленники евреи находились в середине толпы, и человек двадцать самозванных судей толкали, допрашивали, били и ругали их, так что пленники сочли за лучшее не разжимать рта.

Когда толпа повернула за угол, раскрылись створчатые ворота массивной арки и длинный ряд сверкающих оружием фигур хлынул на улицу и по команде неподвижно остановился, стукнув копытами оземь. Передние попятись, и над толпой пронесся боязливый шепот:

– Стража!

– Кто они такие? – тихо спросил Филимон.

– Солдаты, римские солдаты, – столь же тихо отвечал сосед.

Филимон, шедший среди вожаков, отступил назад. Так вот они, римские солдаты! Победители мира! Он стоял перед ними лицом к лицу!

Один из начальников, чин которого он узнал по золотым украшениям на шлеме и нагруднике, схватил его за руку. Грозно взмахнув жезлом над головой Филимона, он спросил:

– Что это значит? Почему вы не спите на своих постелях, александрийские негодяи?

– Александровская церковь горит, – отвечал Филимон.

– Тем лучше!

– Евреи режут христиан!

– Так и разделяйтесь с ними сами. Назад, солдаты! Это просто маленькая потасовка!

И отряд, сверкнув латами на повороте, с грохотом и звоном исчез в темной пасти казарменных ворот. Людской поток, не сдерживаемый более преградой, понесся дальше, еще бурливее прежнего.

Филимон не отставал от своих, но чувствовал странное разочарование.

«Маленькая потасовка»! Пожар Александровской церкви, резня христиан, учиняемая евреями, гонение на христианскую веру, – все это были пустяки, не стоящие внимания сорока солдат. Филимон ненавидел их теперь, этих воинов...

Вдруг пронзительный женский голос из верхнего этажа дома оповестил толпу, что Александровская церковь вовсе не горит. Толпа остановилась. Из расспросов выяснилось, что никто не видел горящую церковь, не встречал очевидцев пожара. Никто не знал даже, кто поднял тревогу. Не лучше ли спрятать в безопасном месте своих пленников и пойти к архиепископу за дальнейшими инструкциями? Так и порешили, и, наконец, достигли Серапеума. Перед Серапеумом возвращавшихся встретила другая толпа, которая сообщила им, что их одурачили. Александровская церковь не горела; из тысячи христиан, якобы убитых евреями, пока оказались налицо лишь три трупа, в том числе и труп бедного священника, лежащий теперь дома. Но зато говорят, что весь еврейский квартал идет на них!

При этом известии толпа решила как можно скорее удалиться в дом архиепископа, заколотить двери и приготовиться к осаде.

Но вот зазвучали вдоль улицы тяжелые шаги; во всех окнах мгновенно показались встревоженные лица, и Петр-чтец бросился вниз, чтобы нагреть большие медные котлы, – он по опыту изучил оборонительное значение кипятка. Блестящий диск луны осветил длинную шеренгу шлемов и панцирей. Слава богу, это были солдаты!

– Евреи идут! Спокойно ли в городе? Почему вы не предупредили убийства? В то время как вы храпели, перерезали более тысячи граждан!

Таковыми возгласами толпа приветствовала проходивших воинов, а воины спокойно отвечали:

– Довольно! Молчите и спите, мокрые курицы, или мы спалим ваш курятник!

Эта вежливая речь вызвала негодующие крики, и солдаты, хорошо знавшие, что с духовенством, хотя бы и безоружным, шутить нельзя, безмолвно продолжали свой путь.

Всякая опасность миновала; теперь всем хотелось болтать громче прежнего, и, без сомнения, эта болтовня продолжалась бы до зари, если бы внезапно не растворилось одно из окон, выходящих во двор, и не раздался властный голос Кирилла:

– Пусть каждый ложится там, где есть место. Утром вы все мне понадобится. Пусть немедленно явятся ко мне начальники параболанов с двумя пленниками и с теми, которые их захватили.

Через несколько мгновений Филимон вместе с двумя десятками лиц очутился перед великим человеком. Патриарх сидел за своим письменным столом и писал краткие приказы на небольших полосках бумаги.

– Вот юноша, который помог мне преследовать убийцу, – сказал Петр. – Он перегнал меня и потому подвергся нападению со стороны пленников. Мои руки, благодарению Господу, не обгажены кровью.

– Трое бросились на меня с ножами, – оправдывался Филимон, – и мне пришлось вырвать кинжал у этого человека, чтобы оружием обратить в бегство двух других.

– Ты храбрый отрок, но не читал ли ты в Священном Писании: если человек ударит тебя в правую ланиту, подставь ему левую.

– Я не успел убежать, подобно Петру и всем прочим.

– Но почему же?

Филимон сильно покраснел, но не решился солгать.

– Мне попалась... бедная раненая негрityнка... ее сшибли с ног... и я не смел ее покинуть, так как она мне сказала, что она христианка.

– Хорошо, сын мой, очень хорошо. Я не забуду этого. Как ее имя?

– Я его не расслышал... нет, кажется, она назвала себя Юдифью.

– Ах, это жена того человека, который прислуживает у ворот проклятой Богом аудитории! Эта набожная женщина, жестоко истязаемая мужем-язычником, делает много добрых дел. Петр, ты завтра сходишь к ней вместе с лекарем и посмотришь, не нуждается ли она в чем-либо. Кирилл никогда ничего не забывает. Теперь подайте мне сюда тех евреев. Два часа тому назад их старейшины обещали соблюдать мир, и вот каким образом исполняют они свои обязательства! Ну что ж! Нечестивые попали в западню, расставленную их собственным коварством!

Евреев привели наверх, но они упорно молчали.

– Посмотри, святейший отец, – заметил кто-то, – все они имеют на правой руке кольцо из зеленой пальмовой коры.

– Весьма зловещий признак! Очевидно, это заговор, – пояснил Петр.

– Ну, что же это значит, негодяи? Отвечайте мне, если жизнь вам дорога!

– Тебе нет дела до нас. Мы – евреи и не принадлежим к твоему народу, – угрюмо возразил один из них.

– Не принадлежите к моему народу? Но вы убиваете мой народ! Я не намерен вступать в прения с вами, как я не пускался в рассуждения и с вашими старейшинами. Петр, возьми с собой обоих молодцов, запри их в деревянном сарае и приставь к ним надлежащую стражу. Кто их упустит – ответит мне за них собственной жизнью!

Обоих евреев вывели.

– Здесь, мои братья, предписания для вас. Разделите их между собой и затем передайте преданным и ревностным христианам ваших участков. Обождите с час, пока не успокоится город, а потом соберите верующих и действуйте. К восходу солнца мне нужно тридцать тысяч человек.

– Для чего, ваше святейшество? – спросило несколько голосов.

– Прочтите ваши предписания. Тому, кто пожелает завтра сражаться под хоругвями Господа Бога, разрешается безнаказанно грабить еврейский квартал, воспрещается лишь насилие и убийство. Пусть Бог поразит меня той же карой или еще суровее, если хоть один еврей останется в Александрии к завтрашнему полудню. Ступайте!

Представители христианской общины удалились, благодаря небо за такого распорядительного и отважного вождя.

Филимон хотел последовать за ними, но Кирилл удержал его.

– Останься тут, сын мой. Ты молод, порывист и не знаешь города. Ложись и спи в соседней комнате. Через три часа начнется бой с врагами Божиими.

Филимон бросился на пол и заснул крепко, как ребенок. На заре его разбудил один из параболанов:

– Вставай, юноша! Посмотри, какова наша сила! К стопам Кирилла стеклось тридцать тысяч человек!

– Вот, братья мои, – говорил Кирилл, одетый в епископское облачение и шедший во главе блестящей свиты священников и диаконов, – христианская церковь сильна своей сплоченностью и единством, и земные тираны трепещут перед ней, не будучи в силах ей подражать. Собрал ли бы Орест в течение трех часов тридцать тысяч человек, готовых умереть за него?

– А мы готовы умереть за тебя! – воскликнуло множество голосов.

– Не за меня, а за царствие Божие!

Кирилл выступил со всей толпой.

## Глава VI

### Новый Диоген

На следующий день, около пяти часов утра, Рафаэль Эбн-Эзра лежал на своем ложе, лениво зевая над рукописью Филона<sup>17</sup>. Он трепал за уши огромного британского бульдога, созерцая серебристую пыль фонтана, бывшего на дворе, и спрашивая себя, скоро ли мальчишка доложит ему, что теплая ванна готова.

Вошел юный слуга и возвестил не о ванне, а о приходе Мириам. Старуха, пользовавшаяся благодаря своему ремеслу правом свободного доступа во все дворцы александрийских патрициев, торопливо вошла, но вместо того, чтобы по своему обыкновению присесть и начать болтовню, продолжала стоять. Рабу она приказала удалиться властным жестом руки.

– Как поживаешь, матушка? Садись же! Что же ты не принес вина для этой знатной женщины? Разве тебе еще не знакомы ее замашки?

– Прочь убирайся! – воскликнула Мириам, обращаясь к рабу.

– Теперь не время тянуть вино, Рафаэль Эбн-Эзра, – продолжала она. – Почему ты тут лежишь? Разве ты не получил письма вчера вечером?

– Письмо? Да, получил, но я его не прочел, так как меня сильно клонило ко сну... Что это? Цитата из Иеремии? «Встань и спасай жизнь свою, ибо злое задумано против всего дома Израилева!» Это от верховного раввина. Я всегда считал этого почтенного отца здравомыслящим человеком. В чем дело, Мириам?

– Безумец! Вместо того чтобы издеваться над священными изречениями пророка, вставай и повинуйся им. Письмо прислала тебе я!

– Почему я не могу исполнить волю пророка, оставаясь на своем покойном ложе? Чего тебе еще надо?

Старуха была не в силах совладать со своим нетерпением; она бросилась на Рафаэля и, бешено скрежеща зубами, потащила его с кровати на пол. Рафаэль привстал, ожидая, что будет дальше.

– Рафаэль Эбн-Эзра! Неужели ты так ослеплен своей философией, своим язычеством, ленью и презрением к Богу и людям, что станешь равнодушно смотреть, как твой народ делается добычей хищника и твои богатства растаскивают нечестивые собаки? Вот что сказал Кирилл: «Пусть Бог накажет меня такой же карой или еще суровее, если завтра в это время останется хоть один еврей в Александрии».

– Тем лучше, если этот шумный Вавилон надоел и остальным евреям почти так же, как мне. Но чем я могу помочь? Я не царица Эсфирь. Я не могу, как она, отправиться во дворец к Агасферу и устроить так, чтобы он протянул мне золотой скипетр.

– Несчастный, если бы ты вчера вечером прочел письмо, то, быть может, пошел бы к нему и спас нас. Тогда твое имя, как имя второго Мардохея, передавалось бы из поколения в поколение.

– Дорогая матушка, Агасфер, наверное, слишком крепко спал или был слишком пьян, чтобы слушать меня. Но почему же ты сама не поспешила к нему?

– Неужели я бы не пошла, если бы могла? Я ведь не так ленива, как ты. С опасностью для собственной жизни я пробралась к твоему дому в надежде спасти тебя.

– Значит, мне нужно одеться? А что еще?

---

<sup>17</sup> Филон Александрийский (20 до н. э. – 50) – философ; пытался истолковать Пятикнижие Моисеево в духе платоновских идей.

– Ничего! Кириллова чернь обложила все улицы. Слышишь крики и вой? Они уже нападают на дальнюю часть квартала.

– Как, они режут евреев? – спросил Рафаэль Эбн-Эзра, накидывая плащ. – Потеха, должно быть, действительно, началась, и я с удовольствием постараюсь ей помешать, если смогу. Сюда, мальчик! Мой меч и кинжал!

– Не надо! Лицемеры уверяют, что кровь не будет пролита, если мы не станем сопротивляться и покорно позволим себя ограбить. Кирилл сам присутствует, чтобы со своими монахами предупреждать всякие насилия... Да уничтожит христиан ангел Господень!

Беседа была прервана домочадцами, которые прибежали в комнату, бледные от ужаса. Рафаэль, окончательно выведенный из своей апатии, подошел к окну и стал следить за всем, происходившим на улице.

Переулок был запружен бранившимися женщинами и плачущими детьми. Молодые и старые мужчины смотрели, как расхищают их имущество. Рассудок воспрещал им сопротивляться, мужество не позволяло жаловаться. А между тем домашняя утварь летела из всех окон. Из каждой двери выбегали свирепые громилы, уносившие деньги, драгоценности, шелка, – словом, все сокровища, которые в течение многих поколений успели накопить еврейские купцы и ростовщики. Среди грабителей и ограбленных стояла расставленная вдоль улицы духовная полиция Кирилла, одно слово которой действовало на толпу сильнее, чем копья римских солдат. Убийство было воспрещено, и ни одного насилия не совершилось.

Рафаэль молча наблюдал, а Мириам в исступлении бегала по комнате и тщетно призвала хозяина действовать словом или делом.

– Оставь меня в покое, мать, – сказал он, наконец. – Пройдет не меньше десяти минут, прежде чем они почтят меня своим посещением, а тем временем я ничего лучшего не могу предпринять, как следить за этой сценой, напоминающей изгнание израильтян из Египта.

– Никакого сходства нет! Тогда мы шли при звуках тимпанов и песен, и в Красном море нас ждала победа. Тогда каждая неимущая женщина брала займы у соседки серебро, золото и драгоценности, чтобы достойно украсить себя.

– А теперь мы их возвращаем. Тысячу лет тому назад мы должны были послушаться Иеремии; нам не следовало, как глупцам, возвращаться в страну, у которой мы были так сильно в долгу.

– Проклятая страна, – воскликнула Мириам. – В недобрый час ослушались пророков наши предки, и теперь мы пожинаем плоды наших грехов. Что ты думаешь делать?..

Мириам схватила Рафаэля за руку и с силой потрясла ее.

– А ты что намерена предпринять?

– Я вне опасности, меня ожидает лодка у канала, вблизи садовой калитки, и я остаюсь в Александрии. Ни одна христианская собака не заставит старую Мириам поступать против ее воли. Мои драгоценности зарыты, девушки проданы. Спасай, что можешь, и следуй за мной.

– Дорогая матушка, почему тебя так сильно беспокоит мое благополучие? Почему ты заботаешься обо мне больше, чем о других сынах Иудеи?

– Потому... потому что... Нет, я тебе скажу это в другой раз. Я любила твою мать, и она меня любила. Иди! Довольно!..

Рафаэль задумался и молча наблюдал за погромом.

– Как эти христианские священники умеют держать в повиновении своих людей! Они все-таки сильные люди нашей эпохи, верь мне, Мириам, дочь Ионафана...

– Зачем ты назвал меня дочерью? У меня нет ни отца, ни матери, ни мужа, ни... Зови меня матерью.

– Не все ли равно, как называть тебя? Прошу тебя, возьми из той комнаты все драгоценности. Если их продать, то можно купить половину Александрии. Я собираюсь в путь...

– Со мной?

– Нет, в обширный божий мир, моя дорогая повелительница. Вон тот молодой монах постиг истину. Я решил стать нищим.

– Нищим?

– Почему бы нет? Не старайся отговорить меня. Я уйду, а мне даже не с кем проститься! Эта собака – единственный друг, который у меня есть на земле. Ну, пойдем, Бран, радость моя!

– Ты можешь идти вместе со мной к префекту и спасти большую часть твоего богатства.

– Вот этого-то я и не намерен делать! Говоря откровенно, прекрасная язычница становится мне слишком дорога.

– Как! – вскричала старуха. – Ипатия?

– Да. Во всяком случае, мое отсутствие проще всего устраним это затруднение; я попрошу довести меня до Киренеи на первом отходящем корабле и стану изучать жизнь Италии. Бери скорее все мои драгоценности. Я уйду. Мои освободители стучат уже у наружных ворот.

Мириам с жадностью хватала алмазы, жемчуг, рубины, изумруды и, торопливо пряча их в своих широких карманах, шептала:

– Ступай, ступай. Беги, я сохраню твои сокровища.

– Да, спрячь их. Несомненно, ты удвоишь их количество к тому времени, когда мы снова встретимся. Прощай, мать!

– Но не навеки, Рафаэль, не навсегда! Поклянись мне именем четырех архангелов, что напишешь мне в дом Евдемона, если когда-либо будешь в горе или опасности. Ты все получишь обратно. Заклинаю тебя Илией, скажи, где черный агат? Сломанная половинка талисмана из черного агата?

Рафаэль побледнел.

– Откуда ты знаешь, что у меня есть черный агат?

– Откуда бы ни знала! – воскликнула она, хватая его за руку. – Где он? Все зависит от этого. Безумец, – продолжала она, отталкивая его, – уж не отдал ли ты его этой язычнице?

– Клянусь душой моих отцов, тебе, старой колдунье, по-видимому, все известно. Ну да, я поступил именно так. Я ей отдал агат лишь потому, что ей понравился начертанный на нем талисман.

– Чтобы при помощи его обольстить тебя же? Да?

– Тварь, торговка рабами! Ты всех считаешь такими же низкими существами, как те жалкие создания, которых ты покупаешь, перепродаешь и превращаешь в исчадия ада, подобные тебе самой!

Мириам посмотрела на него, и ее большие черные глаза расширились и сверкнули. Она было потянулась к кинжалу, а затем горько зарыдала и закрыла лицо морщинистыми руками.

В это мгновение послышался глухой грохот, сопровождаемый радостными восклицаниями, и Мириам выбежала из комнаты, догадавшись, что наружные ворота выбиты толпой.

– Сюда ушла старуха с моими сокровищами, а оттуда приходят непрощенные гости с молодым монахом во главе... Сюда, Бран... Мальчики, рабы, где вы? Берите себе все, что можете, а затем спасайтесь через задние ворота!

Рабы торопливо исполняли его приказания. Пройдя пустые комнаты, Рафаэль спустился вниз по лестнице и в передней увидел толпу монахов, ремесленников, торговков, рабочих из гавани и нищих. Они шумели и бросались в двери, то направо, то налево. Предводительствовал ими Филимон.

– Привет вам, почтенные гости! – сказал Рафаэль. – Что касается пищи и питья, то мои кухни и погреб к вашим услугам. А что касается одежды, то я готов отдать этот хитон из индийских шалей и эти шелковые шаровары тому из вас, кто согласится обменять их на свои священные лохмотья. Быть может, ты окажешь мне эту услугу, прекрасный юный вождь этой новой школы пророков?

Филимон, к которому Рафаэль обратился с этими словами, презрительно молчал.

– Слушай же меня, юноша! Слово за мной. Смотри, этот кинжал отравлен: малейшая царапина, и ты умрешь. Эта собака – чистой британской породы, и если она в тебя вцепится, то даже раскаленное железо не заставит ее выпустить тебя, пока не захрустят твои кости. Если кто-нибудь из вас обменяется со мной платьем, я отдам вам все мое имущество. А если не согласны, то первый, кто тронется с места, погибнет.

Рафаэль говорил со спокойной решительностью воспитанного человека.

– Я готов поменяться с тобой одеждой, еврейская собака, – заревел, наконец, какой-то грязный оборванец.

– Я твой вечный должник. Пройдем в эту боковую комнату. А вы, друзья мои, идите наверх, но будьте осторожнее. Этот фарфор оценивается в три тысячи золотых, за разбитый же вы не получите и трех грошей!

Грабители не теряли времени: они хватали все, что попадалось под руку, и разбивали то, что нельзя было унести или что не возбуждало их алчности.

Рафаэль спокойно снял свою роскошную одежду, накинул изодранную бумажную тунуку, надел соломенную шляпу, поданную нищим, и скрылся в толпе.

## Глава VII

### Творящие неправду

Целый день Филимон мучился воспоминаниями об этом утре. До сих пор все христиане, а в особенности монахи, казались ему непогрешимыми, а евреи и язычники – проклятыми Богом безумцами. Кротость и твердость духа, презрение к мирским радостям и любовь к бедным были добродетелями, которыми гордилась христианская церковь, как своим неотъемлемым наследием.

Но кто в наибольшей степени проявил эти качества сегодня утром? Образ Рафаэля, раздавшего все богатства и в обличье бездомного нищего пустившегося странствовать по свету, храня на устах спокойную, самоуверенную улыбку, преследовал Филимона всюду.

Пока Филимон вспоминал и размышлял о случившемся, настал полдень, и юноша обрадовался предстоящей трапезе и послеобеденным работам, которые должны были рассеять его тягостные думы.

Сидя на своей овчине, Филимон, как истый сын пустыни, грелся на солнце. Петр и архи-диакон сидели в тени возле него, ожидая прихода параболанов, и шептались об утренних происшествиях. До слуха Филимона долетали имена Ореста и Ипатии.

К ним подошел старый священник и, почтительно поклонившись архиdiaкону, стал просить вспомоществования для семьи одного матроса, которую нужно было перевезти в больницу, так как все ее члены заболели изнурительной лихорадкой.

Архи-диакон, взглянув на него, равнодушно ответил: «хорошо, хорошо» – и продолжал беседу,

Священник поклонился еще ниже и стал доказывать необходимость немедленной помощи.

– Очень странно, – произнес Петр, как бы обращаясь к кружившимся в небе ласточкам Серапеума, – что некоторые люди не умеют приобрести в собственном приходе достаточно влияния и не могут сделать самое малое доброе дело, не утруждая его святейшество.

Старый священник пробормотал нечто вроде извинения, а архи-диакон, даже не посмотрев на него, приказал:

– Дай ему кого-нибудь, брат Петр, – все равно кого. Что тут делает этот юноша Филимон? Пусть-ка он идет с священником Гиераксом.

Петру, по-видимому, не понравилось предложение, и он что-то шепнул архи-диакону.

– Нет, без тех я не могу обойтись. Навязчивые люди должны рассчитывать только на счастливый случай. Идем! А вот и братья. Мы отправимся вместе.

Филимон пошел с ними. По дороге он спросил своих спутников, кто такой Рафаэль,

– Друг Ипатии.

Это имя тоже интересовало его, и он попытался деликатно и по возможности осторожно узнать что-либо о ней. Но его замысел не удался. Одно имя Ипатии привело всех в исступление.

– Да сокрушит ее Господь, эту сирену, волшебницу, колдунью! Она и есть та необыкновенная женщина, появление которой предсказал Соломон.

– А по-моему, она предтеча Антихриста, – добавил другой.

– Значит, Рафаэль Эбн-Эзра ее ученик по части философии? – спросил Филимон.

– Он ее ученик по части всего, что она замышляет для оболыщения человеческих душ, – сказал архи-диакон.

– А все-таки не следует так строго осуждать ее, – вступился старый священник. – Синезий Киренейский<sup>18</sup> – святой муж, а он очень любит Ипатию.

– Святой муж, а имеет жену! Он имел наглость сказать самому благословенному Феофилу, что не согласен сделаться епископом, если ему не разрешат остаться с ней! Немудрено, что человек, подобный Синезию, пресмыкается у ног возлюбленной Ореста.

– Она, вероятно, очень безнравственна? – спросил Филимон.

– Она не может не быть безнравственной. Разве язычница может обладать верой и благодатью? А без них всякая праведность – грязные лохмотья!

Филимон был достаточно умен и понимал, что утверждение не есть еще доказательство. Но заключение Петра: «так должно быть, следовательно, так и есть», было удобно, ибо избавляло от дальнейших вопросов. Да и, наверное, Петр основывался на достоверных сведениях.

Филимон продолжал свой путь. Но ему почему-то было грустно думать, что Ипатия – страшная колдунья и обольстительница, вроде Мессалины. А с другой стороны, если она ничему не могла научить, то откуда же взялись у Рафаэля сила и твердость? Если философия умерла, то что же такое Рафаэль?

Между тем Петр со своими спутниками свернул в боковой переулок, а Филимон с Гиераксом остались одни. Они прошли несколько шагов молча, друг возле друга, спустились по одной улице, поднялись по другой, и, наконец, молодой монах спросил, куда они идут.

– Туда, куда надо. Нет, юноша, если архиidiaконы и чтецы позволяют себе оскорблять меня, священника, то от тебя мне все-таки не хотелось бы слышать оскорблений.

– Уверю тебя, я не хотел сказать ничего обидного.

– Конечно! У всех вас одни манеры, и молодые люди, к сожалению, слишком скоро перенимают их у стариков.

– Но ты, надеюсь, не хочешь сказать ничего плохого об архиidiaконе и его товарищах? – спросил Филимон, плывавший воинственной преданностью братству, к которому он сам принадлежал.

Ответа не последовало.

– Разве они не самые святые и набожные люди?

– Да, конечно, – сказал спутник таким тоном, который явственно говорил: «конечно, нет».

– Ты говоришь не то, что думаешь! – воскликнул Филимон грубо.

– Ты молод, очень молод! Поживи с мое, тогда и увидишь. Наш век – развращенный век, сын мой: он не похож на то доброе старое время, когда люди готовы были страдать и умирать за веру. Ныне мы благоденствуем. Знатные дамы в шелковых, расшитых золотом одеждах прикидываются кающимися Магдалинами и носят Евангелие на шее. В дни моей юности они шли на смерть за то, чем теперь украшают себя.

– Но я говорил о параболанах.

– Ах, между ними много таких, которым не место там, где они находятся. Не говори, что слышал это от меня. Возьмем хотя бы проповедников. Когда-то люди говорили, и даже авва<sup>19</sup> Исидор говорил это, – что я проповедую не хуже любого человека. Но, поверишь ли, в течение одиннадцати лет, которые я провел тут, я еще ни разу не был допущен до проповеди в собственном приходе.

– Ты, верно, шутишь?

– Это так же истинно, как и то, что я христианин. Я знаю причину, мне она известна. Они боятся учеников Исидора. Они, наверное, недолюбливают привычку этого святого – резать правду в глаза, ведь в Александрии уши у людей очень чувствительные. Потому-то я, священ-

---

<sup>18</sup> Синезий Киренейский – философ, поэт, оратор.

<sup>19</sup> Древнееврейское, перешедшее к христианам обращение к Богу или духовным лицам: отче, отец.

ник, и стал тут невольником, а люди, вроде Петра-чтеца, смотрят на меня, как на раба, с высоты своего величия. Впрочем, всегда так бывает. В Александрии, в Константинополе, даже в Риме наиболее преуспевает гибкий, медоточивый, суетливый человек, собирающий крупные суммы для бедных все равно из каких источников. В городах идет великая борьба за положение и могущество. Всякий завидует своему соседу; священники завидуют диаконам и имеют на то веские основания; епископы провинции завидуют епископу метрополии, а тот в свою очередь соперничает с епископами Северной Африки. А патриархи Римский и Константинопольский завидуют нашему патриарху.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.